

Российская Академия Наук
Институт философии

И.К. Пантин

СУДЬБЫ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

Москва
2004

УДК 300.51
ББК 66.3
П 16

В авторской редакции

Рецензенты:

доктор филос. наук *Г.Г.Водолазов*,

доктор полит. наук *Е.К.Самарская*

П 16 Пантин И.К. Судьбы демократии в России. — М.,
2004. — 196 с.

Судьбы демократии в России — одна из самых обсуждаемых тем в литературе, отечественной и зарубежной. В книге рассматриваются исторические и современные аспекты становления демократии в России. Автор доказывает, что коллизии российской политической мысли, ее взлеты и падения, изживание иллюзий также входят в генезис современной российской демократии, как и драматическое — через крах коммунизма — освоение опыта Запада новыми поколениями. Совмещение этих составляющих — проблема и для политики, и для мыслящих людей.

Книга предназначена не только политологам и историкам, она будет интересна и более широкой — читательской аудитории.

ISBN 5–9540–0014–X

© Пантин И.К., 2004
© ИФ РАН, 2004

Светлой памяти Михаила Гефтера

... В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, – рядом
С любым из европейцев – человек

Максимилиан Волошин

Введение

Проблема демократии в России возникла в условиях, существенно отличающихся от тех, в которых она ставилась и обсуждалась в свое время в Западной Европе и Северной Америке. И именно эти условия, а не распространенное представление о демократии, связывающее ее исключительно с опытом стран «первого эшелона» капиталистического развития, задают действительные параметры проблемы, придают содержание понятию «демократия в России».

Поскольку западная демократия является наиболее развитой и наиболее многосторонней исторической организацией политической жизни общества, ее определения, понимание характера порождающих ее и порождаемых ею отношений дают нам возможность проникновения в природу других политических форм, вовлекаемых процессами глобализации в общее историческое русло. В этом смысле К.Маркс и утверждал, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны».

К сожалению, гносеологический характер марксова афоризма оказался утерянным (а вернее, не понятым) многими исследователями как на Западе, так и у нас, в России. Его стали толковать предельно вульгарно: реальное состояние поставторитарного общества стали сравнивать и оценивать в соизмерении (в противоположность Марксу, говорившему о *теоретическом* «проникновении») с классическими западными демократиями, рассматриваемыми как «эталон» качества современного политического устройства и как желаемое будущее всех стран. Крах коммунизма в странах Восточной Европы и в России окончательно определил триумф этих взглядов. Вместо поиска новых форм и моделей демократии, соответствующих специфике данного общества, стали стремиться как можно скорее насадить в своих странах институты и отношения западного политического устройства. В одних случаях это привело к сооружению «почти современного» *фасада*, за которым скрывается господство

прежних политических нравов и прежних методов правления. В других — «эталонные» демократические институты и отношения извращаются, становясь своей противоположностью, приспособляясь к произволу коррумпированной бюрократии, к приватизированному криминальными элементами государству. В России, например, воровали всегда, но то, что делалось в последнее десятилетие, превосходит все мыслимое и немислимое.

Виновата ли в этом демократизация?

Постольку-поскольку... Сейчас, на переломе тысячелетий, становится ясно как никогда, что вопреки канонам вестернизации, люди не могут жить на один (политический и иной) манер, даже если за подобным «манером» стоят успехи народов ряда регионов. Существование человечества — не только каким оно было, но и *каким ему быть* — это мир своеобразия, специфики, различий (в т.ч. политических), не нивелируемых влиянием других, даже передовых стран, но и не противопоставляющих себя передовому опыту. Ответ на вопрос «Что делать?» у каждого народа может быть только своим собственным. Но чтобы ответ этот был сегодняшним, а не вчерашним или позавчерашним, он должен учитывать проблемы завтра, т.е. быть современным.

Демократия в России сегодня — это не просто *незрелая* демократия (хотя элементы незрелости, разумеется, налицо), которая постепенно будет вызревать, накапливая опыт и втягиваясь в общее русло всемирного исторического движения. Это — демократия с иными, чем на Западе, проблемами, порожденными историей страны и стремлением обновить политический строй в условиях, резко отличающихся от тех, в которых проходило становление современной демократии в европейских государствах. Дело здесь не в «особости» России, а в необходимости *переоткрыть заново* (Б.Г.Капустин) принципы демократического и, естественно, либерального устройства, сообразуясь с ее историческими традициями, культурой и факторами современного существования. Когда-то такого рода «переоткрытием» занимались США, затем

Франция, Германия, сегодня эта задача стоит перед Россией. И это не измена демократической традиции, а, наоборот, следование ей (так же, как слепое подражание равняется разрыву с традицией). Демократия, как и свобода, слишком феноменальна, индивидуальна, динамична, чтобы следовать общим политическим образцам. Каждый народ выбирает свою свободу и в каждой исторической ситуации ищет свою меру соотношения и ограничения разных свобод.

Есть еще одна особенность ситуации, в которой началась демократизация в нашей стране. Вследствие включенности России в мировую экономическую и общественно-политическую систему духовная жизнь в нашей стране на протяжении столетий осовременивалась быстрее, чем экономические и социальные условия жизни ее населения. Отсюда своего рода инверсия взаимодействия социально-экономических и духовных факторов модернизации по сравнению со странами Западной Европы: духовная зрелость «культурного общества» в определенном смысле *опережает* материальную. Вопрос о зрелости общества (скажем, российского) для новоевропейских преобразований утрачивает прежнюю однозначность и становится вопросом нахождения новой связи между «бытием» и «сознанием», нового их единства. В свете всемирно-исторического опыта мы вправе сказать, что здесь действует закономерность «догоняющего» развития: в условиях глобальности мира, включающего высшие формы капитализма, видоизменяются региональные формы движения, появляется новое поле возможностей включения стран и регионов во всемирно-историческое целое.

Вот почему проблема демократии в России является еще до сих пор проблемой. Не в том смысле, что возможен откат назад, хотя и он не исключен, а в том — каким путем пойдет политическое и социальное развитие страны, справится ли демократия с традиционными бедами России — чрезмерной централизацией, всесилием бюрократии, чиновничьим произволом, диктатурой некомпетентности,

зависимым положением судов, неистребимой установкой «верхов» на удушение любой самостоятельности и индивидуальных свобод.

Опыт нашей страны еще раз подтверждает ту истину, что для создания эффективной демократии недостаточно завоевания демократами командных высот в государстве и создания по образцу передовых стран современных институтов. ***Сделать Россию демократической можно лишь демократическим путем.*** Импульсы сверху должны подкрепляться импульсами снизу. А это предполагает ряд условий и прежде всего подъем масс, моральный и материальный, не говоря уже о политическом — тех самых масс, которые «нынче так же, как и древле» ощущают себя забытыми, задавленными, отодвинутыми на обочину жизни — произволом властей предречающих бедность, неуверенностью в завтрашнем дне, отсутствием перспектив. Приоритет ценностей свободы над материальным неравенством оказался чужд отечественной традиции, нашему историческому прошлому, российскому менталитету наконец. Дело не в том, что русский народ равнодушен к либеральным и демократическим ценностям, просто-напросто демократический режим в том виде, в котором он существует сегодня, не решил стоящих перед страной проблем, а скорее обострил и запутал их.

Почему же демократический прорыв не дал ожидаемых результатов, хотя и вызывал к жизни глубокие изменения общественных отношений? Чем объясняется «зазор» между политической жизнью Западной Европы и России? На какие препятствия наталкивалась (и наталкивается после 1991 г.) демократия в России? В силу каких причин наследниками и душеприказчиками демократических устремлений народа оказались люди и партии, не имеющие ничего общего с идеалами демократии и справедливости?

Сразу же напрашивается ответ из разряда очевидных. Конечно же, обучение россиян демократии в начале XX века (февраль—октябрь 1917 г.) и в конце его (90-е гг. XX века) было слишком коротким, а активные усилия — слишком

слабыми, чтобы люди в полной мере могли оценить ценности свободы и демократии. К тому же психологический импульс оказался чересчур слабым, сошел на нет, так и не став отправной точкой подлинно демократического, опирающегося на массы обновления.

Не отрицая правомерности такого рода ответов, мы попытаемся доказать, что корни проблемы демократии в России лежат глубже — в особенностях исторического пути развития страны, в специфике воздействия на нас государств Европы, в характере ценностей, разделяемых большинством населения. Иначе говоря, автор данной работы исходит из посылки, которая гласит: при анализе судеб демократии в России нельзя перескакивать через исторический *генезис* рассматриваемого предмета, далеко не безразличный к его существу, к его объективному содержанию.

В соответствии с этим пониманием предмета исследования мы попытаемся обрисовать сначала специфику исторического пути России с точки зрения концепций догоняющего развития, а уж затем перейдем к характеристике народничества — специфической формы демократической идеологии. Идеология демократизма в нашей стране возникла *до* и *независимо* от массового демократического движения, которого не существовало вплоть до революции 1905—1907 гг. Ее происхождение связано с воздействием передовой, прежде всего социалистической, мысли, а также исторического опыта Европы на политическую, духовную жизнь в России. Это обстоятельство наложило отпечаток на всю идейную эволюцию: начиная с А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского, русские демократы ставят вопрос о противоположности интересов либеральных модернизаторов и крестьянства, «капитала» и «труда», пытаются найти новые, небуржуазные пути общественного развития.

Воздействие социализма и рабочего движения Европы ускорило возникновение в России и марксистского направления (Г.В.Плеханов и его группа «Освобождение труда»). Марксизм был шагом вперед в развитии демократической и

социалистической мысли. Но он же, по крайней мере, в условиях России, радикально трансформировал демократическую традицию: «пролетарская демократия» как способ мысли и действия в исполнении большевиков носит уже ярко выраженный *якобинский* характер. В 1918–1921 гг. они подавили всякое сопротивление своей диктатуре, и в течение последующих семидесяти лет демократическая идея, а тем более движение, находились фактически под запретом.

Наконец, последние главы книги посвящены социальным и политическим последствиям августовского (1991 г.) переворота, политике руководящих групп, проводимой под флагом укрепления демократии.

Автор отдает себе отчет в том, что раскрытие замысла работы, предваряющее конкретное исследование проблемы, может вызвать сомнение в отношении фактической доказательности его концепции демократии в России, нарекания в предвзятости исходной позиции. Но предлагаемая работа не является историческим исследованием в собственном смысле этого слова. Ее цель — рассмотрение русской демократической традиции как некоего целого, без прорисовки деталей. Исследователю всегда приходится выбирать: либо предварительная прорисовка проблемы и «предвзятая» концепция, либо следование в каждом отдельном случае за фактом с последующим обобщением на основе здравого смысла. Автор работы выбрал первый путь.

ГЛАВА I

РОССИЯ: ОКОНЧАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА?

Труднее трудного — ухватить целое. Движение целого.

Михаил Гефтер

Россия переживает сегодня кризис своих исторических оснований. Дело не только в том, что страна повсеместной государственной собственности, вовлекаемая на путь приватизации и капитализма, испытывает беспрецедентные экономические и социальные потрясения. Проблема глубже. Полностью исчерпал себя, закончился огромный исторический цикл догоняющего развития России со всеми его императивами, противоречиями, внутренними ограничениями, альтернативами и, наконец, человеческой ментальностью. Приходится менять вектор общественной эволюции. Громадной стране с богатой и противоречивой историей предстоит заново и, главное, по-новому обрести свою идентичность, решить, какой она войдет в XXI век, который вряд ли будет простым продолжением XX-го.

Исследователи российской истории ощущают этот «разрыв времен» прежде всего как внезапную утрату привычного поля проблем и устоявшихся способов их решения. Там, где вчера, казалось бы, царила полная ясность (даже если люди расходились друг с другом во мнениях), сегодня господствуют неразбериха и разброд точек зрения. Все сознают (или чувствуют), что, понимая предмет исследования по-прежнему, невозможно свести воедино старые и новые события из истории нашей страны. Однако относительно того, каким должен быть исследуемый предмет — целое страны, движение целого, — существует множество противоречивых и даже взаимоисключающих концепций. «Вопрососпособ

ность» нынешней отечественной науки об обществе намного превосходит ее «ответоспособность», что естественно для эпохи, когда пытаются «сделать» современность, обновив и пересоздав ее, заново введя в нее прошлое и тем самым превратив в момент развития.

Есть, правда, еще одна причина теоретических и практических трудностей нашего общества: Россия до сих пор не сложилась как цивилизационное целое. Формирование «подлинной и всеобщей цивилизации», которое Карл Маркс связывал с крестьянской революцией — «русским 1793 годом», не стало реальностью после 70 лет коммунистического господства. Несмотря на общую судьбу народов, населяющих Россию, она и сейчас, по выражению Михаила Гелфтера, «не страна, а мир в Мире, существованием своим запрашивающий человечество: быть ему или не быть»¹. Впрочем, не мир, а мы сами обязаны выработать ответ на этот вопрос.

Догоняющее, или «запоздалое», развитие

Объясняя историю России, я в этой работе исхожу из концепции догоняющего, или «запоздалого», развития. Вместе с Евгением Плимаком мы разрабатываем ее уже двадцать лет². Поэтому многие положения — плод совместного творчества.

Известно, что идею догоняющего развития России первым высказал в 1872 г. Сергей Соловьев в своих знаменитых «Публичных чтениях о Петре Великом» и комментариях к ним. «Русский народ не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века, благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра» — вот главное положение историка³. Несколько слов о понятиях «не отстал», а «только запоздал». По Соловьеву, Россия принадлежит к единой христианской цивилизации, а потому запоздание с

переходом в пору «зрелости» не отменяло (несмотря на все различия исторических путей) общности судеб России и Европы.

Дальнейшая история показала, однако, что проблема «Россия—Запад» неизмеримо сложнее, чем это представлялось Соловьеву. Правильно фиксируя исходный пункт воззрений на историческое развитие России, он находился в плену иллюзий органического, более или менее плавного вхождения России в семью европейских народов (например, вековое и укрепившееся при Петре Великом поголовное «рабство» он отмечал лишь мимоходом).

Ученик Соловьева Василий Ключевский в этом смысле сделал шаг вперед — сосредоточил свое внимание на «сходстве явлений и различии процессов» в Европе и России. Другими словами, историк начал отчетливо осознавать особый характер движения отставшей страны за развитыми. «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созреет для реформы, — писал он в дневнике (1911 год). — Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро»⁴. «Наскоро» означает для него и «низшую форму государства» в России, и отсутствие права в русской жизни, и беззаконие при невероятном обилии законов.

Концепция догоняющего развития не случайно появилась после «великой реформы» 1861 г. Этот подход по сути дела зафиксировал новый, буржуазный вектор в истории России. Однако и Соловьев, и Ключевский занимались главным образом древнейшими и средневековыми пластами российской истории. Вот почему их идея нуждалась в развитии; и ее действительно развивали, особенно в XX веке.

Мимо нее не прошли Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они, в частности, отметили важную особенность социально-экономической эволюции России: новые фазы развития напластовывались здесь на старые, не вытесняя их. Судя по наброскам писем Маркса к Вере Засулич, на его взгляд, Россия в XIX веке сохранила даже признаки азиатского способа

производства, при котором над локализованным микрокосмом общин был воздвигнут более или менее централизованный деспотизм. На эту архаическую почву напластовался промышленный капитализм, минуя долгий инкубационный период развития машинного производства. «Сразу» вводился в России и современный механизм обмена (банки, кредитные общества и т.д.), «выработка которого на Западе требовала веков»⁵.

Энгельс писал о настойчивых попытках российского государства внедрить (в основном за счет крестьянства) западные промышленные технологии и организационные формы. При этом самодержавие оберегало свой интерес и интерес помещиков. Основное обобщение Энгельса: в России «представлены все ступени социального развития, начиная от первобытной общины и кончая современной крупной промышленностью и финансовой верхушкой, и... все эти противоречия насильственно сдерживаются деспотизмом, не имеющим себе равного»⁶.

Главная черта догоняющего развития — формирование современных политических, экономических, духовных структур не в результате естественного, автохтонного саморазвития общества, а под воздействием на него опыта, отношений, экономики и культуры более развитых стран. В России этому благоприятствовали геополитическое положение и вовлеченность в «концерт европейских держав» (Маркс). Новые формы отношений не состыковывались с господствующим укладом жизни населения, со всем массивом традиций и привычек народа, так как не были подготовлены внутренним развитием; их создавали в ответ на сдвиги в капиталистических метрополиях, и прежде всего в Европе. В качестве примера можно сослаться на насаждение государством крупной промышленности после реформ 1861—1864 гг., «введение» социализма пролетарско-плебейскими элементами во главе с большевиками в стране среднеслабого развития капитализма или же утверждение парламентарно-демократических институтов после 1991 г.

Вот почему вестернизация всегда шла в России болезненно, сопровождаясь дезинтеграцией и ломкой старого. Государство широко пользовалось неэкономическими, насильственными мерами, а политическая, социальная и экономическая сферы общества развивались рассогласованно.

Методологические постулаты

Если другие парадигмы предполагают изучение российского прошлого и феноменов ее политической, социальной, экономической эволюции в формате одной страны и лишь под углом зрения их внутреннего, национального происхождения, то концепция догоняющего развития ставит отечественный исторический процесс в контексте всемирно-исторических (прежде всего европейских) отношений, видоизменяя саму перспективу рассмотрения прошлого нашей страны.

В самом деле, можно ли понять разложение крепостнического строя в рамках капитализма — специфический феномен пореформенной России, если рассматривать его как независимый от остального мира объект исторического изучения, а не как составную часть всемирной реальности и европейских международных отношений?

Советская историография немало потрудились над тем, чтобы сблизить российский капитализм с западно-европейским, а точнее, с капитализмом вообще. Отсюда недооценка *особенностей* буржуазной эволюции России, нежелание видеть существенные различия между ее «вторичным», догоняющим капиталистическим развитием и «первичными» процессами на Западе. Между тем различия эти велики, серьезные. Было бы неправильным представлять догоняющее развитие России как движение по западному пути с отставанием на одну-две фазы. По ряду важных параметров она в XIX — начале XX столетий действительно отставала на два-три века. Однако дело не только в национально-исторических особенностях российского развития, по своей сущности

якобы одинакового с западноевропейским, но и в более сложной, своеобразной его сущности. Нельзя адекватно понять это своеобразие, оставаясь в пределах старых схем, которые ограничивались чисто формационным или — шире — линейным истолкованием истории.

Действительно, как теоретически выразить специфику русского исторического процесса в таких общих категориях, как «феодализм», «капиталистическая формация», «естественный характер буржуазного развития», «модернизация», «социалистическая революция» и т.п.? Нельзя выявить ее и пользуясь цивилизационным подходом.

Еще один важный постулат, на котором базируется концепция догоняющего развития, — радикальное отрицание эконоцентристской трактовки исторических процессов. Последняя вытекает не только и не столько из теории Маркса, сколько из догматической веры многих исследователей в то, что экономическая сфера чуть ли не автоматически определяет сферу социальных отношений, политики и культуры. Русский исторический процесс подрывает эту веру в корне. Существование структур, генетически не связанных между собой, относящихся к разным стадиям общественного развития, наслоение новых отношений и новых противоречий на неустраненные старые оказываются здесь закономерным результатом исторической эволюции. И если прибавить к этому отсутствие класса или социальной группы, чьи интересы совпадали бы с потребностями развития общества в целом, эконоцентризм просто перестает работать. Насилие, прежде всего, конечно, государственное, выступает в истории нашего отечества естественным (а иногда решающим) фактором преодоления исторических тупиков, развязки внутренних и внешних кризисов. Более того, ослабление государственного начала в России всегда означало разброд в обществе, кровавые конфликты между верхами и низами, ужасающие бедствия. Вспомним Смуту начала XVII века, закончившуюся установлением монархии Романовых, кровавые 1917–1920 гг., моральный и социальный хаос 90-х годов, порожденный развалом государственных структур.

Замечу, впрочем, что обратное неверно: сильное государство в России далеко не всегда вело страну по пути прогресса.

Исторические циклы

Когда сложилось то, что можно назвать генотипом развития российской цивилизации? Сразу оговорюсь: ответ на этот вопрос зависит прежде всего от взгляда на русскую историю и толкования ее переломных событий. Например, Юрий Пивоваров и Андрей Фурсов, авторы концепции «Русской Системы», в полном соответствии с их оригинальным видением отечественного исторического процесса как развертывания противоречий самодержавного государственного устройства относят возникновение этого генотипа ко времени Андрея Боголюбского, то есть к XII веку⁷.

Сторонники формационного подхода и теории модернизации как вестернизации, напротив, выводят свое понимание русского исторического процесса из генезиса капиталистического уклада. По их мнению, капитализм в нашей стране победил в конце XIX века и уже с тех пор стал социально-экономической и политической доминантой. Все, что мешало и мешает модернизации России, они сводят к «почвенной составляющей российской цивилизации»: именно в ней, по их мнению, следует искать причину повторения трагических циклов российской истории.

Славянофильская традиция, напротив, видела этот генотип в русском общинном начале, «соборности» народа и т.п., а трагические циклы истории России — в насаждении западных начал. Не буду разбирать эти и другие версии русского исторического процесса, а ограничусь одним замечанием общего свойства.

В развитии каждой страны сменяются исторические стадии и векторы (если, конечно, считать не годами и десятилетиями, а веками). Рисорджименто коренным образом изменило прежнее направление общественных процессов в

Италии. Поражение фашистской Германии существенно откорректировало историческую судьбу немецкого народа. Вот почему к термину «генотип» нужно подходить очень осторожно. Он взят из биологии и в исторической науке теряет большую часть своих «разрешающих возможностей», а порой даже дезориентирует.

Конечно, под этим понятием можно подразумевать народный менталитет — феномен вполне реальный, если отбросить разного рода идеологические спекуляции. Менталитет подытоживает многое: природные условия, размеры территории, историческую судьбу народа, строй его речи, традиции и, что немаловажно, укоренившийся способ обращения людей друг с другом; соответственно он многое дает для объяснения сквозных линий русской истории. Однако парадоксов развития прошлого и настоящего менталитет все-таки не ухватывает.

Тем не менее общие черты у исторического процесса, несомненно, есть; более того, без них нельзя обойтись, характеризуя развитие России в целом. Скажем, трудно понять российскую историю без такого феномена, как самодержавие. Веками русский народ безропотно мирился с азиатской самодержавной властью, а в самые переломные, критические моменты национальной истории она получала поддержку снизу. Уже одно это заставляет задуматься о глубоких социальных корнях самодержавия в российском обществе. Проблема становится еще острее, если вспомнить о коммунистическом тоталитаризме, который сравнительно легко (по историческим меркам, разумеется) одержал верх над другими возможностями политического и исторического развития страны.

Однако и самодержавная «составляющая» русского исторического процесса объясняет далеко не все. Почему, например, социально-экономическое развитие России не смогло подняться до ступени экономической формации, как это произошло на Западе? Почему в нашей стране после 1861 г. не победили капиталистические отношения? Не хватило вре-

мени и усилий? Но ведь самодержцы насаждали капиталистическое промышленное производство. Или в силу чего внедрение и рост «верхушек» капитализма (банковская система, крупная промышленность и т.п.) неожиданно усилили на громадной территории переживания крепостничества? Кто кого приспособлял к себе: царизм — капиталистическую эволюцию или же, напротив, капитализм «воспитывал» самодержавие? Почему российский либерализм так долго следовал в фарватере монархии? Сказались политическая зависимость и рептильность русской буржуазии или нечто большее — оправданная боязнь страшных социальных потрясений, которые могли принести с собой свержение царизма и аграрная революция в условиях, созданных реформой 1861 г. и последующей политикой самодержавия? Чтобы получить ответ на все эти вопросы, нужно всерьез учесть специфику буржуазного прогресса в России, связанную с природой догоняющего развития.

Проблемы такой эволюции стояли перед Россией не всегда, у нее есть временные рамки. Они возникли, когда шведский король Карл XII попытался преградить России путь к Балтийскому морю, а значит, к Европе и развитию. Я беру три последних века и применительно к ним (и только к ним) рассматриваю вопрос об отечественном историческом генотипе. Московская Русь для меня — предыстория, когда формировалась основная предпосылка догоняющего развития — самодержавная власть. И, напротив, начало нового цикла, в который, на мой взгляд, входит Россия, превращается в ее будущее.

Долгий, более чем трехсотлетний цикл догоняющего развития вобрал в себя много исторических фаз. Петр I создавал современную армию и флот, мануфактуры, где преобладал труд крепостных. Реформы Александра II отменили крепостное право, но не создали необходимых условий для беспрепятственного буржуазного развития. Октябрьскую революцию большевики тоже быстро вогнали в русло требований догоняющего развития (Ленин вполне в духе Пет-

ра I предлагал бороться с варварством варварскими же средствами). Сталинская индустриализация уничтожила русское крестьянство во имя «полной победы социализма» в СССР, на деле же во имя промышленного рывка страны. Все эти фазы объединяет желание власти догнать (и перегнать) Запад — прежде всего в военном отношении.

В конце XX века цикл догоняющего развития в российской истории закончился. Сегодня вопрос стоит иначе: либо мы войдем в сообщество цивилизованных стран, не догоняя, а встраиваясь в него, либо будем оттеснены на периферию мировой историей. Для стран, переживших догоняющее развитие, эта дилемма типична. Разрешим ли мы ее в духе времени, покажет будущее.

Революционеры на троне

С точки зрения концепции догоняющего развития исходный пункт исторического цикла России — деятельность Петра Великого. Предвестья его преобразований такой специалист, как Соловьев, видел уже в попытках Ивана IV выйти к Балтийскому морю, а также в правлении первых Романовых, которые завели «военный строй» на европейский манер, начали вывозить из-за границы ремесленников и вообще «людей, способных завести разные промыслы», пригласили к услугам европейских ученых и офицеров с их знанием математики, географии, военного дела и т.д.

Величайшим достижением петровских реформ (добавлю: оно изменило последующий ход российской истории) Маркс считал превращение континентальной державы в морскую. Отодвинув на второй план задачу овладеть берегами Каспия, Азовского и Черного морей, Петр бросил все военные силы на Балтийское направление, на борьбу против шведов, самой воинственной в то время нации Европы. «Место, где стоит ныне Санкт-Петербург, — писал Маркс в «Разоблачениях дипломатической истории XVIII столе-

тия», — было в течение тысячелетия местом, оспариваемым финнами, шведами, русскими»⁸. Это соперничество Петра Великий завершил в пользу русских.

Единоборство со Швецией потребовало гигантского напряжения сил нации. При численном сокращении податного сословия налоги увеличиваются почти втрое, причем две трети их уходят на военные нужды. Десятки, если не сотни тысяч крестьян погибли в баталиях Петра, при возведении северной столицы, работая в мануфактурах и на рудниках. Царь жестко регламентирует деятельность купцов и предпринимателей, поголовно мобилизует дворян на военную и административную службу, для чего принудительно обучает наукам дворянскую молодежь. Невиданно растет государственная бюрократия, опутывающая страну деспотической опекой.

Преобразования Петра раскололи нацию и в культурном отношении: «благородного» от простолюдина отличали теперь короткая одежда, бритое лицо, парик, вызывавшие ужас у мужика, да изъяснялось благородное сословие все больше «по-иноземному» — сначала на немецком, а потом на французском языке. Молва окрестила царя-преобразователя «Антихристом», хотя по-крупному народ царю не перечил. Казачество и крестьянство поднимаются в 1773—1775 гг., при Екатерине II.

Означает ли это, что подлинная история России началась с Петра? Разумеется, нет. Но он изменил основной вектор исторического развития страны — событие, без которого не понять нашего бурного и трагического прошлого.

Военные победы Петра над шведами ввели в систему отношений между государствами Европы новую державу с огромной регулярной армией и современным флотом. Однако преобразования превратили Россию не в европейскую страну, а в державу-кентавра. В той мере, в какой европейский опыт и знания переплавлялись оригинальным творчеством самого царя и многочисленных «птенцов гнезда Петрова», страна поднялась на уровень передовых государств

Старого Света. Но так как материальной основой преобразований было неслыханное утяжеление податного бремени и усиление внеэкономического принуждения, страна все глубже увязала в своем азиатско-крепостническом прошлом.

Парадокс тогдашнего исторического рывка России состоит в том, что его невозможно передать в терминах прогресса. Заимствуя на Западе передовую по тем временам технологию (мануфактурное производство), Петр соединил ее не со свободным наемным, а с крепостническим трудом приписных («посессионных») и купленных рабочих. Даже «наем» рабочего на казенную или частную мануфактуру означал его закабаление. Так было заложено основное противоречие (развитие промышленности без развития «свободного труда» и капитализма), которое полтора столетия спустя взорвет страну изнутри. Поражение России в Крымской войне доказало, что крепостная мануфактура не может соперничать с капиталистическим производством Европы.

Это поражение заставило самодержавие задуматься об отмене крепостного права и преобразовании отношений между крестьянами и помещиками. Не крестьянские восстания (их значение ничтожно) и не революционное движение (которого практически не было), а именно вовлеченность России в политическое соперничество европейских держав, международные экономические связи, обмен товарами и идеями предопределили начало превращения крепостнической страны в буржуазную путем «революции сверху». Отправным моментом реформ 1861—1864 гг. стала именно «революция сверху». Этот особый способ модернизации диктовали необходимость догнать Запад и неразвитость общественных отношений. В отличие от европейских держав, где уступки у трона вырывала обычно энергия народных масс, инициатором крупных преобразований в общественном устройстве России по большей части выступала самодержавная власть, принуждавшая к переменам не только народ, но и господствующие круги.

Здесь не место детально анализировать происхождение этого феномена. Однако укоренению принципа «петроградизма» немало способствовали исторические испытания, выпавшие на долю России.

«По нашей земле, — справедливо отмечал Иван Солоневич, — проходили величайшие нашествия мировой истории: татарские, польские, французские и два немецких. До разгрома татарских орд нас в среднем жгли дотла по разу лет в двадцать-тридцать. Потом по разу лет в пятьдесят-сто: два нашествия немцев в начале XX века, одно французское в начале XIX века, одно шведское в начале XVIII, одно польское в начале XVII — не считая таких «мелочей», как Крымская и Японская»⁹. Естественно, выжить в таких условиях россиянам помогли величайшее напряжение сил, признание единой политической воли (воплощенной либо в самодержавии, либо в тоталитарной власти), терпение, стойкость, умение переносить трудности и способность начинать все снова. Но как ни важно понять духовное «я» народа, его характер, волю, самоощущение, инстинкт и т.д., сами по себе они не объясняют, отчего единство огромного народа, подчинение частных интересов интересам целого веками достигались в форме власти самодержца (генерального секретаря), стоящего выше всех и вся, даже закона.

Думаю, устойчивость российского самодержавия и централистского комплекса коренится, прежде всего, в специфическом взаимодействии между социальными структурами буржуазной Европы, с одной стороны, и ее громадной евразийской периферией — с другой. Будучи частью европейских геополитических отношений, Россия, несмотря на экономическую, культурную отсталость, была принуждена этим отношениям соответствовать — иначе ее оттеснили бы на задворки европейской политики, а может быть, и превратили в колонию. Соперничать на равных со своими западными (и отчасти южными) соседями царизм мог, только имея в своем распоряжении все людские и материальные ресурсы страны.

Предпосылки такого типа развития, при котором роль субъекта преобразований выдвигается самодержавная власть, — слабость, неразвитость общественных сил, заинтересованных в переменах, вынужденный характер реформ (чаще всего под угрозой катастрофы) и, наконец, политическая апатия основной массы населения, особенно в начале преобразований. Так или иначе, но в течение трех веков в России под влиянием сил европейского масштаба потребность в реформах возникала прежде, нежели страна созрела для изменений. Инициаторами перемен становились не общество и не народ, а самодержцы, вернее, верхние звенья государственного механизма (царь и его ближайшее окружение). Лишь в ходе перемен рождалось «сцепление» реформаторов и общества, идеи преобразования овладевали активной частью населения, а затем и более широкими его слоями. Так это случилось после реформ 1861—1864 гг., в 1905—1907 гг. (1917-й — особая проблема).

Как показал исторический опыт России и других стран, движение по такой «перевернутой» схеме далеко не оптимально и, более того, чревато серьезными опасностями и противоречиями. И дело здесь не в том, что целевые установки, скажем, александровских реформ, отвечавшие практическим нуждам России, «внедрялись в косную социальную среду без учета специфики социально-экономической ситуации», как считает Иосиф Дискин¹⁰. Основное препятствие заключалось, как он сам же справедливо замечает, в характере «вмененной» модели трансформации, при которой «общество априорно трактуют как косное и пассивное». Во-первых, при реформировании «сверху» политические субъекты, действительно заинтересованные в модернизации, формируются медленно и с трудом. Общественные структуры, способные поддержать перемены, находятся в зачаточном состоянии, идеология радикальных партий сплошь и рядом умозрительна, утопична, не ставит и не решает злободневных для страны проблем. Во-вторых, пока серьезной политической оппозиции начинаниям «верхов» нет (стоит

ей появиться, как ее подавляют), импульсы «снизу», усиливаясь, становятся разрушительными. В условиях общенационального кризиса, поражения в войне и слабости власти энергия низов, высвобождаясь, порождает социальный взрыв и хаос (как это случилось в 1917-м). В-третьих, модернизация через «революцию сверху» игнорирует социально-культурную специфику страны, упраздняя ее как анахронизм. Внедряемые элементы разрушают системную целостность складывающейся цивилизации, скорее порождая новые проблемы, нежели решая старые.

Движение вдогонку, за которое пореформенная Россия, как и петровская, заплатила непомерно большую цену, ограничилось в основном отраслями национальной экономики, обслуживавшими нужды военной политики. Все остальное, включая культурные нововведения, разбуженное общественное сознание и т.п., было вторичным, производным, хотя именно эти факторы способствовали обновлению страны и расширению возможностей ее развития.

Что же происходило в экономике страны после реформ 1861—1864 гг.?

Владимир Крылов, рано ушедший из жизни талантливый востоковед, теоретически описал противостояние капитализма метрополий так называемому периферийному капиталистическому развитию, коренящееся в одноукладности эпицентров капитализма, с одной стороны, и принципиальной многоукладности социально-экономической структуры стран «вторичного» (или зависимого) буржуазного развития — с другой¹¹.

Если распространить этот вывод на пореформенную Россию, вырисовывается следующая картина. В результате крестьянской реформы формирование капиталистических отношений стало ведущей тенденцией экономики, прежде всего в том, что касается охвата естественных и людских ресурсов страны, а также «обволакивания» остальных социально-экономических укладов. Однако при этом товарный выход продукции сплошь и рядом происходил за счет личного

потребления самих производителей. Выходить на рынок крестьян заставляла необходимость платить громадные подати. Как справедливо отмечал Гефтер, «крестьянин был весь в долгах, продавал хлеб сверх всякой продовольственной нормы (т.е. рынок развивался бурно. — *И.П.*), однако, в подавляющей массе его хозяйство — с точки зрения внутренней структуры, внутренних отношений — оставалось патриархальным, натуральным»¹².

Таким образом, вопреки мнению Владимира Согрина, «великие реформы» 60-х гг., давшие толчок модернизации страны, менее всего можно определить как «пестование» «западного начала» в противовес восточному, «почвенническому». Не говоря о том, что подобного рода общие, абстрактные категории мало что дают для понимания истории нашей страны, «западное» в российском варианте обернулось для основной массы крестьян нищетой, муками голода, выколачиванием податей, произволом начальства, насилием над ограбленным мужиком. По отношению к такому «западному началу» в реформах восточная, «почвенническая» мечта русских крестьян о «черном переделе» неизмеримо больше соответствовала объективной потребности развития страны, а значит, и императивам ее модернизации.

Что же касается индустриальных методов производства, то они в России на протяжении всего XIX века остались явлением, локализованным в немногих промышленных анклавах (Московский, Петербургский, Уральский, Харьковский и другие регионы). И это отнюдь не случайное «отклонение» капитализма от его якобы исключительно прогрессивных и цивилизующих тенденций. В условиях отсталой патриархальной страны капитализм не может развиваться иначе, как создавая в отдельных секторах народного хозяйства (крупная промышленность) современные производительные силы и одновременно тормозя трансформацию традиционных экономических форм.

Собственно, отраслевая структура российской экономики и в капиталистическом секторе развивалась весьма уродливо. Царское правительство в первую очередь поддерживало развитие тяжелой индустрии (производство металла для железных дорог) и машиностроения, нужных для модернизации вооружений. На капиталистическое развитие воздействовали социально-политические факторы: возникали заводы и фабрики, работавшие не на свободный рынок, а на казенную промышленность. Созданная искусственно, она не имела соответствующей инфраструктуры, механизация тонула в море грубого ручного труда. Поэтому рассчитанное на нужды государства, оплачиваемое казной крупное производство не смогло пересоздать на принципах капитализма остальные отрасли народного хозяйства. В них, по выражению Маркса, «великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных исстари формах».

Господствовавший в Европе капиталистический способ производства навязал российскому обществу свои законы и тем самым существенно модифицировал его социальную эволюцию. В России капитализм рождается не из разлагающихся традиционных укладов, а, наоборот, само их разложение (или сохранение) происходит под влиянием капитализма, родившегося в другом месте, но привитого к общественному организму страны. В Западной Европе и Северной Америке капитализм, укореняясь, глубоко вспахивал социальную почву, нес духовное и политическое обновление, знаменовал собой начало нового витка цивилизации. В России же прогрессивная роль капитализма проявилась иначе: он обрушил прежний жизненный уклад широких слоев населения, «вбросил» их в условия товарных отношений, не создав серьезных социальных предпосылок для нового способа хозяйствования и не открыв новых возможностей для развития народа. Из-за этого капитализм не смог завоевать все социально-экономическое пространство страны и не превратился в элемент, констру-

ирующий целостность общества. Зато он обострил до предела все противоречия — экономические, социальные, национальные.

Здесь не место подробно рассматривать факторы, обусловившие победу большевиков в октябре 1917-го. Одно бесспорно: ее корни уходят в реформы 60-х гг., точнее, в их внутренние противоречия.

Русский коммунизм

Последнее десятилетие поставило перед исследователями трудный вопрос: можно ли (и если да, то как) вписать в логику российского исторического процесса период коммунистической диктатуры? Большинство думающих людей осознают сегодня, что он не был случайностью, объясняющейся личностью Сталина (а еще раньше Ленина), а каким-то образом связана с логикой и общими линиями русской истории. Но как объяснить эту неслучайность? Тут мнения сильно расходятся.

Самые радикальные исследователи хотели бы напрямую, «логически» вывести русский коммунизм из прошлого (сильная централизованная власть, отсутствие гражданского общества, архаические структуры, политическая неразвитость населения) и склонны видеть в нем гигантский рецидив феодализма, нечто вроде второго издания крепостничества в XX веке. Коммунизм они определяют как решение исторического спора в пользу архаики и антимодернизации или как реакцию «традиционного общества на техногенную цивилизацию, с использованием всех приобретений этой цивилизации для воскрешения прошлого»¹³.

Другая, более консервативная часть историков все еще рассматривает коммунистический режим как незрелое выражение зрелой (по всемирным меркам) исторической тенденции перехода к социализму. В рамках линейно понимаемого формационного развития русский коммунизм пред-

ставляется им необходимым следствием обострения социальных противоречий российского капитализма, закономерным выходом из ситуации, созданной империалистической войной и кризисом старого способа производства. Путеводной нитью им служат ленинские слова «нельзя быть демократом, не делая шагов к социализму».

Не буду перечислять другие концепции, подчеркну лишь главный недостаток этих подходов к русскому коммунизму: они суживают видение проблемы до императивов и архетипов «национальной» российской истории, не могут встроить проблему во всемирно-исторический контекст. Между тем только взгляд на коммунистический тоталитаризм как на одну из тенденций мировой истории стал оправданным пунктом наиболее плодотворного, на мой взгляд, объяснения победы большевиков в 1917 г. и последующей эволюции режима.

Среди работ этого направления отмечу цикл статей по русской истории покойного Михаила Гефтера, интересную по замыслу, хотя и не бесспорную, книгу Андрея Фурсова «Колокола истории»¹⁴, ряд статей Вадима Цымбурского, работу Бориса Капустина «Современность как предмет политической теории»¹⁵. Все эти авторы признают, что коммунизм высвободил творческую энергию социальной утопии, порожденную вызовами современности, в разной мере решил на свой лад некоторые из назревших проблем исторического развития России и при всем своем варварстве и бесчеловечности продолжил тенденции «догоняющего» исторического развития.

Природу русского коммунизма теоретически последовательно разработал Фурсов. Он исходит из того, что характер перемен и логику функционирования коммунистического (в духе раннего Маркса) общества обуславливает и определяет предмет отрицания, то есть специфика периферийного капитализма. В результате социального переворота 1917 г. «вторичное», догоняющее развитие России к капитализму сменяется коммунистическим «паракапита-

лизмом». Соответственно для Фурсова коммунизм — это форма власти, не только устраняющая капиталистическую эксплуатацию, но и стирающая грань между государством и гражданским обществом, государственностью (властью) и классовостью (собственностью). В итоге власть становится «системной судьбой», специфическим качеством общества. Новый тип социальной организации («властесобственность») обуславливает превращение экономической, социальной и духовной сфер общества в разновидности однородной, недифференцированной власти¹⁶.

На первый взгляд победа коммунизма в России — исторический нонсенс, по крайней мере по марксистским меркам. В стране, где не были завершены буржуазные преобразования (аграрный вопрос), где крупное капиталистическое производство (сравнимое с тем, что сформировалось в Великобритании, Франции и Германии) существовало лишь в анклавах, где рабочий класс европейского типа был исчезающе малой величиной среди городского плебса, где сельское население решительно преобладало над городским (и по численности, и, главное, по психологии), вопреки Марксу совершается социалистическая революция. После недолгого соперничества с левыми эсерами к власти приходят большевики, сторонники радикальных коммунистических преобразований — вплоть до методов «военного коммунизма».

Конечно, можно считать Октябрьский переворот неожиданным стихийным «всплеском» традиционализма, прервавшим течение цивилизационного процесса и изменившим основное направление движения страны. Но, думаю, сегодня важнее понять, почему «очередной» виток развития России оказался связанным с властью и деятельностью компартии, опиравшейся на плебейско-пролетарские слои.

У проблемы русского коммунизма два аспекта: социально-экономический и культурно-психологический.

1. Если принимать во внимание не лозунги, а реальный характер Октябрьской революции и последующего развития страны, то следует признать, что социальный и экономичес-

кий кризис начала века отнюдь не означал исчерпания ресурсов капиталистического развития; напротив, оно продолжалось — даже во время мировой войны. Однако один только этот рост, без преобразования общества и государства, не мог устранить диспропорции и противоречия — как идущие от крепостнического прошлого, так и рожденные особенностями буржуазного развития. Первая мировая война сделала эту истину очевидной для громадных социальных слоев. Прогресс, который по своему экономическому содержанию не переставал быть буржуазным, оказался невозможным, как это ни парадоксально, в качестве «буржуазной меры» (Ленин). И когда Февральская революция не решила аграрного вопроса, не создала класса свободных (от остатков крепостничества) крестьян, в России замаячила перспектива народной антикапиталистической революции.

Почему во главе ее оказались большевики? На короткое время, как писал Гефтер, «дух мировой революции, который нес в себе большевизм, совпал с жадной миллионных крестьян завершить вековой спор с дворянской (и сросшейся с ней буржуазной) Россией — завершить вековой спор уничтожением всех былых средостений, и прежде всего крепостнических перегородок на земле»¹⁷.

Коммунизм не случайно возник и восторжествовал в нашей стране: россияне десятилетиями вынашивали в своих умах идею «социального освобождения» в противовес политическому. В определенном смысле движение, написавшее на своих знаменах этот лозунг, можно признать социалистическим, поскольку движение низших классов против высших заходило дальше «классически» капиталистических преобразований. Во всяком случае, чтобы создать свободное крестьянство в России, буржуазной революции оказалось мало. Потребовались меры против буржуазии и диктатура плебейско-пролетарских низов. Однако антикапиталистическая окраска всех форм социальной борьбы, в том числе в деревне, отнюдь не означала социализма. Вследствие неизбежной в условиях начала XX века аберрации политическо-

го сознания народнические партии и большевики взяли на вооружение ту же доктрину равенства (правда, истолковав ее в антибуржуазном и «социальном» смысле), которая ранее в Западной Европе сыграла роль идеологии в борьбе за общество, покоящееся на либерализме и свободе торговли.

2. Для понимания культурно-психологического происхождения русского коммунизма на первый план выходит феномен, который Ральф Дарендорф назвал «демократией без свободы».

Думаю, что среди традиций, проходящих через последние два века отечественной истории и трансформирующих идеи демократии, на первом месте стоит специфическое отношение русских к народу. В стране, где слабо развиты современные общественные отношения, высший культурный слой сравнительно мало воздействует на массы, а бюрократический аппарат гипертрофирован, понятие «народ» обнимает прежде всего, а иногда и исключительно, низшие его слои. Интеллигенция, предприниматели (городские и сельские) и, разумеется, чиновничество выводятся за рамки «народа», жестко противопоставляются ему. Именно так сначала народническая интеллигенция, а затем большевики восприняли и рационализировали это понятие. Сложился «народнический комплекс» сознания, когда наиболее развитой культурный слой нации (по крайней мере, на уровне мироощущения) чувствовал свою вторичность по отношению к народной стихии, с одной стороны, и к государству — с другой. Это принижало значение культурных ценностей, подвергало их «нравственному сомнению» (Николай Бердяев). Высшую правду искали не в идеалах свободы, не в культуре и ее достижениях, а в народной жизни, которую признавали единственно органической и смыслообразующей.

Коллективизм и «соборность» долго превозносили как особые преимущества русского народа. На деле же они означали неспособность отдельной личности к самостоятельности и духовной автономии, нетерпимость к инакомыслию, искание «правды» не в себе, а вовне. У развитой личности

отнимали право, чувствуя себя органической частью народа, отстаивать свою правду, иметь индивидуализированное сознание. Даже сегодня, когда большинство населения России приобрело политический опыт, стало образованнее, а «народнический комплекс» демократии изрядно поизносился, его переживания все еще сильны, и потому либеральные идеи воспринимаются с трудом.

В нелиберальном обществе российский демократ (а в 1917 г. большевик) видел главную проблему политической жизни в установлении правления большинства. Однако речь не шла о политических институтах, способных выразить интересы большинства, а тем более о сочетании этих интересов с правами меньшинства. Согласно российской демократическо-народнической традиции большинство имеет право властвовать уже в силу того, что оно — большинство. Следовало лишь преодолеть препятствия на пути к «народовластию». Отечественный демократ, даже разделявший опасения «культурного общества» перед неразвитостью и предвзвешенностью большинства, твердо верил: интересы и права «народа» священны, проблема в том, чтобы любыми путями и средствами превратить их в реальность. Однако такие черты русского демократического идеала, как экономическое и социальное равенство, полная свобода волеизъявления, равные права на участие в принятии решений в условиях революции, обернулись взрывом своеволия неразвитых масс и анархии, справиться с которыми было под силу только диктатуре — большевистской, «красной», или монархической, «белой». История использовала европейские демократические (и социалистические) спички, чтобы запалить бикфордов шнур социального динамита. Направленность же революционного взрыва оказалась неожиданной: демократия породила распад и анархию, а их сменили рационализация и регламентация, идущие от диктаторского государства.

Самодержавное государство веками выступало в России не только агентом надстроечных сфер, но и субъектом отношений собственности. С помощью разных форм волевого

вмешательства — от грубого произвола до упорядоченных правовых мер — оно вторгалось непосредственно в экономику страны. Коммунизм в этом смысле стал продолжением и завершением процесса. Установленная им форма власти не только устраняла капиталистическую эксплуатацию, но и вообще стирала грань между государством и обществом, властью и собственностью.

По прежней схеме развивалась промышленность: главным образом ее оборонные отрасли. Остальные секторы народного хозяйства, особенно рассчитанные на личное потребление, так и не поднялись до европейского уровня. При отсутствии конкуренции и рыночных императивов производство, раз возникнув, практически не обновлялось, а «железный занавес» защищал от сравнения с мировыми стандартами. Промышленность выполняла и перевыполняла планы, а в стране царил дефицит. Разоренное коллективизацией сельское хозяйство не справлялось со снабжением города элементарными продовольственными товарами.

Заимствование передовой технологии, как и в прошлом, сопровождалось закрепощением труда. Рабочий и крестьянин были бесправны перед их государством. Все решала партийно-государственная номенклатура во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС.

Перелом

Переломные периоды в развитии любой страны поучительны для науки прежде всего тем, что обнажают скрытые до поры до времени исторические «пласты», их местоположение в социальном «пространстве», трещины, разломы, куда в критические моменты устремляется энергия наиболее активных групп общества. Конечно, конкретный ход будущих событий полон неожиданностей и разнообразен по форме. Его нельзя точно спрогнозировать, но общее направление угадывается.

Я уже упоминал, что догоняющее развитие было плодом не только социально-экономической отсталости. Свою роль сыграли геополитическое положение России на стыке Европы и Азии, равнинный характер территории, мощный «выброс» разноплеменной Азии в восточноевропейское пространство, влияние Орды на формирование государственности, необходимость силой пробиваться к морю, многонациональный характер населения и т.д. И все же решающая роль в утверждении этого типа эволюции принадлежит двум факторам — абсолютистскому государству и военному соперничеству с Западом. В течение более чем трехсотлетнего цикла русской истории они оставались «постоянными величинами».

Конец XX века поставил под сомнение эффективность догоняющего развития России и диктуемые им политические, идеологические и моральные императивы. Потребовалась коренная перестройка режима, которую и начал Михаил Горбачев. Однако либерализация коммунистического режима показала, что эффективной политической системы в СССР не существует. «Общественное государство» функционировало только при всевластии КПСС. Между тем в ее рядах стремительно нарастали противоречия между «либералами» и «фундаменталистами», с одной стороны, и между сторонниками независимости республик и «унитаристами» — с другой. К тому же в 1988 г. обстановку накалили выступления шахтеров. «Верхи» растерялись, маневрировали неумело, «низы» не соглашались больше жить по-старому. Слово «демократия» стало паролем всех оппозиционных сил. В Москве одна демонстрация сменяла другую. Прибалтика готовилась выйти из СССР. Бурлили Украина и Кавказ. Однако для перелома понадобился раскол в «верхах», происшедший в августе 1991 г. Перестройка вышла за отведенные ей либерально-коммунистические рамки. После трехдневного противостояния режим пал почти в одночасье, причем даже не из-за неразрешимых социально-экономических проблем или мощного натиска демократических сил. Он просто-

«просел» под тяжестью накопившихся противоречий, экономических, политических, социальных, разрушился, не справившись с вызовами современности.

Либерально-демократические реформы 90-х гг. отчетливо показали, что при догоняющем развитии государство и общество не только противопоставлены, но и дополняют друг друга. «Сильное» государство всегда соответствовало слабому в гражданском смысле народу. А это, в свою очередь, требует, чтобы разрыв между «народным» и «демократическим» в России был изжит, а «народное» было наполнено демократическим содержанием.

Крах коммунистического режима поставил перед реформаторами вопрос громадной трудности: какой быть новой власти? Демократической, либеральной? Несомненно. Иначе формирование основополагающей клеточки общества Нового времени — индивида, способного размышлять над собственными проблемами и отвечать за себя, — снова застрянет, как в прошлом, «на первых этажах». Но на этом проблема лишь начиналась. Не сразу, а с опозданием реформаторы начали осознавать радикальность «зазора» между Европой и Россией, объясняющегося различием условий буржуазного развития. В странах Старого Света основы гражданского общества сложились уже в XVII—XIX веках и борьба за свободы была призвана убрать с ее пути политические, юридические препятствия. В России же историческая задача либерализации и демократизации предполагала одновременное реформирование и политической, и социальной сфер, между которыми в отечественной истории сложилась специфическая корреляция.

Насколько это трудно, показал опыт 90-х гг. Население, в большинстве своем одинаково затронутое бедностью и бедствиями, в социальном отношении слабо стратифицированное, этнически и конфессионально неоднородное, не в состоянии самостоятельно представлять себя, защищать свои интересы от собственного имени. Его решающее влияние на политические процессы выражается в поддержке идеи «силь-

ной» власти, которая бы стояла над обществом и играла роль его попечителя. Однако как раз «сильное» патерналистское государство, как бы оно себя ни называло — самодержавием, «диктатурой пролетариата», президентской республикой, — представляет собой в условиях России политический фундамент независимой от народа власти и господства бесчисленной бюрократии. При неразвитом гражданском обществе и жестком централизме идеология демократии, построенная на признании первичности общенародных потребностей, этике «общего блага» и отсутствии понятия нормы, выражает лишь намерение разрешить проблемы большинства, не больше. Способ же действий, который и составляет реальное наполнение демократии, диктуют обстоятельства.

Извечная российская проблема — как преодолеть произвол в отношениях между людьми. Без этого не может быть законности, духовной независимости, свободы и прав человека, не говоря уже о раскрепощении личности. Оказалось, однако, что из-за нищеты, своеволия государства и гражданского бесправия большинству россиян веками не доставало (и недостает до сих пор) глубокого чувства самостоятельности и ответственности. Понимание свободы как морального долга (а не просто «воли»), осознание собственных прав и прав других слишком долго находились в зачаточном состоянии. Столетиями рядовой россиянин метался между рабской привычкой к повиновению и анархическим бунтом, бессмысленным и беспощадным. И не случайно, когда в России началась борьба за свободу, она стала делом меньшинства, а не народного порыва.

К сожалению, нелюбовь к законности и праву — в противовес приверженности к «справедливости» — буквально проросла в душу россиянина. Об этом писал еще в 1861 г. Николай Чернышевский: «Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения...»¹⁸. За неумением россиянина ценить личную

свободу, право и закон скрывались не только нищета, пассивность и предрассудки народа, но и своего рода «рациональные» факторы, в частности отношение народа к государству как высшей инстанции, имеющей право попираť интересы всех и каждого, приоритет общества над индивидом, «народа», низших его слоев над культурными классами и т.п. Именно эти черты рожают «народнический комплекс» низовой, массовой демократии в России.

Тяжелое наследие прежних времен — имперский централизм — порождал и порождает в свою очередь сепаратистские настроения на местах. Россия сложилась в нечто большее, чем страна; это «страна стран» с различными этносами, конфессиями, традициями, с разным отношением людей к труду, к собственности и власти. Чтобы эти различия помогали (а не препятствовали) формированию современного демократического этоса, нужно не только особое федеративное устройство, но и новое понимание свободы. Обычное определение свободы гласит: все индивиды обладают равными правами на достижение определенного положения; новое же должно хотя бы продекларировать равенство прав и доступа всех традиций к рычагам центральной власти.

Падение тоталитарного режима, освобождение от принудительной унификации не случайно обострили проблему объединяющего культурно-идеологического и политического консенсуса народов России. Дело здесь не просто в приверженности каждого из народов своей религии, своей культуре и языку, своим идеям и образу жизни — даже тоталитарный режим, так или иначе вынужден был считаться с различием образа жизни и национальных обычаев. Проблема в том, что интересы России нельзя отождествлять с интересами одной национальности, скажем, русского народа. Конечно, преобладание русских в России в численном смысле настолько очевидно, что любая политическая модернизация, не учитывающая их интересы, ценности, представления о будущем, обречена на провал. Но полиэтничность и мно-

гообразии культурных типов диктуют во имя достижения консенсуса признание равных прав и равного доступа этносов к центрам власти.

Будучи большинством населения в России, русские вынуждены будут считаться с тем, что их культура и ценности не носят всеохватывающего и абсолютно консенсусного характера. Они — ядро политического единства страны, но само же единство поддерживается более широкой общностью интересов и мнений. При всем громадном численном перевесе русских в российском населении они представляют одну из существующих субкультур России — наиболее продвинутую к европейским ценностям свободы и демократии, наиболее универсальную, но одну. Основываясь только на ней, невозможно сплавить воедино население столь неоднородного этнического и культурного состава, как население России. Это доказал опыт недемократических режимов, сначала самодержавия, затем тоталитаризма.

Словом, модернизация России — задача, выходящая за рамки политической сферы. Ее суть — в самоизменении общества и принятии народом не просто иных социально-экономических условий или политических форм, но и иного типа социокультурного развития.

Есть ли альтернатива догоняющему развитию?

Мне осталось оценить новый вектор развития, обозначившийся после 1991 г. Многие готовы вновь определить его как движение вдогонку Западу, но уже в условиях свободы и демократии. По их мнению, в процессе демократических реформ следует накопить более значительные, чем прежде, материальные и человеческие ресурсы. Тогда-де и будет видно, способна ли Россия играть на «опережение» Западу. Думаю, что такой взгляд не только грешит антиисторизмом и антисовременностью. Он вреден, поскольку наперед ориентирует общество на старые цели и приоритеты.

Эпоха догоняющего развития России окончилась. Попытаться реанимировать ее императивы и идеологию значило бы понапрасну растратить силы общества, завести его в тупики и кризисы. Но тогда что же дальше? Неужели громадная евразийская страна с трагической, богатой событиями историей будет и впредь будет обречена на отставание? Как стать равноправным партнером развитых стран? Какая стратегия позволит России войти в семью цивилизованных народов?

Вряд ли это будет стратегия догоняющего развития, которая отвечает лишь одному из многих, частному для России ценностному миру — «либерально-вестернизаторскому». То же справедливо по отношению к коммунистической идее «альтернативного развития» и националистическому «почвенному изоляционизму». Едва ли дело обстоит лучше со стратегией «опережающего развития». По сути это лишь модификация стратегии догоняющего развития, предлагающая использовать специфические для данного общества средства и ресурсы ради достижения все тех же «модернизаторских» целей, но только полнее и эффективнее, чем страны-первопроходцы¹⁹.

Новая, демократическая Россия, думается, придет к стратегии «адекватного развития»²⁰, адекватного не внешним образцам и критериям, а собственным проблемам. Сформулировать их и установить приоритетность можно методом демократической коммуникации всех заинтересованных групп. Внешний мир, разумеется, влияет на эту стратегию, но не как образец для подражания или извечный соперник, а как опыт, который нужно изучить, как сумма конкретных обстоятельств, благоприятствующих или мешающих решению проблем российского общества. В этом смысле (но не только в этом!) можно вести речь о стратегии российского государственно-политического прагматического эгоизма. Ее можно рассматривать как стратегию опережающего развития, но уже в другом смысле. Опережать она должна появление и развитие наших собственных проблем

в экономике, политике, социальной области, реагируя на них прежде, чем те превратятся в источник кризисов, бескомпромиссных столкновений и «сакрализуются» в противостоящие идеологии. Демократический метод как раз позволяет выявить проблему и найти способ урегулировать ее в интересах всех сторон и развития страны в целом. Такой подход к проблемам способен создать стабильную и динамичную Россию, которой обеспечено место в клубе мировых держав. Туда редко попадают, разрушая во имя гонки за первенством «естественную» жизнь общества. Современной России такой путь к величию явно заказан, что не означает, будто нет другого...

ГЛАВА II

РОДОНАЧАЛЬНИКИ КРЕСТЬЯНСКО- ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ*

Прежде чем говорить о демократической традиции в России, ее генезисе и развитии, следует сказать несколько слов о содержании понятия «демократия». Конечно, демократический «идеал» предполагает наличие институтов и процедур, позволяющих обществу в той или иной степени влиять на власть и политику, защиту граждан от авторитарного произвола власть имущих, наконец, жизнь в рамках и под защитой закона. Если иметь в виду модель демократии, характерную для западного общества, то в понятие демократии следует включить определенную степень свободы самоопределения личности (выбор места жизни, ее работы, убеждений, источников информации и т.п.). Но демократия не ограничивается одной-единственной моделью: демократизация (как и демократия) в незападных странах существенно отличается от аналогичных процессов становления современного общества на Западе своеобразием формы и типа демократических преобразований. Об этом говорилось выше. В России в XIX веке демократизм начинался с признания необходимости общенациональных реформ — решения в интересах большинства аграрного вопроса, создания условий, прежде всего материальных, для участия народа в политической жизни. Без экономического раскрепощения народных масс невозможно было создать раскрепощенного индивида, шире — общество индивидов, способное влиять на власть и политику. Соответственно политическая программа русских демократов сводилась к тому, чтобы «по возможности уничтожить преобладание высших классов над

* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 03040137а).

низшими в государственном устройстве», причем, каким путем это сделать, «для них почти все равно». Демократ не останавливается перед тем, чтобы «производить реформы с помощью материальной силы», он для реформ готов «пожертвовать и свободой слова и конституционными реформами». Это было сказано революционным демократом Чернышевским в 1858 г.; практически именно он сформулировал основные пункты плебейски-крестьянского демократизма в России.

Каким же образом возникла эта формулировка демократизма?

Демократическая мысль в России зарождается в 40–60-х гг. XIX века (если, конечно, не считать «демократизации» господствующего класса в эпоху Ивана Грозного и Петра I). Первыми и крупнейшими ее представителями были А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский. Как русские мыслители они ищут ответа на вопросы, поставленные предшествующей общественной мыслью (А.Радищев, декабристы), исходят в своем анализе и прогнозах из сочетания общественных сил и экономических факторов эпохи падения крепостного права. Русские вопросы — как обновить социальный строй России, как освободить народ от крепостничества, как разбудить спящую крестьянскую массу, как уберечь простолюдинов от бедствий капитализма и т.д., стимулировали направление их драматического поиска.

Особенностью демократизма Герцена и Чернышевского — родоначальников народничества — являлось то, что он сформировался до появления массового демократического движения в стране и независимо от него. Надо сказать, что вопрос о миновании капитализма Россией на пути развития русской общины был сформулирован впервые Герценом. Свидетель восстания парижских рабочих 1848 г. он один из первых в России пришел к убеждению в неспособности буржуазии и всех буржуазных политических институтов выражать интересы «низших классов». Жестокая расправа буржуазии над июньскими инсургентами, диктатура Кавеньяка, а затем переворот, совершенный Луи-Бонапартом, стали

для него свидетельством тупиковости пути буржуазной цивилизации. Вот позиция Герцена: «Государства Европы явно зашли в тупик. Им необходимо сделать решительный бросок вперед или же отступить еще дальше, чем сейчас». «Парламентаризм, протестантизм — все это были лишь отсрочки, временное спасение, бессильные оплоты против смерти и возрождения. Их время минуло». «...Достанет ли силы на возрождение старой Европы, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму?»²¹. Сегодня мы знаем причину заблуждений Герцена: он принял пролог развития современного буржуазного развития за его эпилог. Замечу, однако: он не приговаривает Европу к смерти, он лишь отрицает ее будущее в качестве *продолжения* данного развития, доказывает необходимость «общественного преобразования» для выхода из тупика. Другое дело, что в 50-х гг. XIX века он не видит в европейской действительности сил для возрождения. Когда же они появились, он с радостью приветствовал их.

После революции 1848—1849 г. Герцен обращает свои взоры на Россию, но не на самодержавие и деспотическую власть, а на русскую крестьянскую общину — зародыш, как ему казалось, того типа развития, на который Европа оказалась неспособной. «Мы являемся со своей общиной в эпоху, — писал он, — когда противобщинная цивилизация гибнет, вследствие полной невозможности отделаться, в силу своих начал, от противоречия между личным правом и правом общественным»²².

В рамках данной работы не представляется возможности рассматривать эволюцию взглядов Герцена на социализм, русскую общину и рабочее движение Западной Европы. К тому же это сделано в нашей литературе. Важнее другое: Герцен первый связал свои надежды на возрождение страны с «сельской Россией», с русским крестьянством — самым низшим и самым массовым слоем. Как родоначальник идеи «русского социализма» он, разумеется, не мог не идеализировать общинную организацию крестьянской жизни — она

для него выступала залогом особого пути развития, не самодержавного, но и не буржуазного. Российское крестьянство, слабо социально стратифицированное, традиционалистское по сознанию, психологии, не могло стать основой демократической борьбы в стране. Стихия пугачевского бунта, «слепого и беспощадного», присутствовала в крестьянских выступлениях вплоть до 1917 г. Века рабства сделали свое дело: подавляющему большинству населения России не доставало чувства самостоятельности, инициативы и ответственности. И если тем не менее демократическая традиция появляется в российском обществе, то это объясняется главным образом особенностями психологии «образованных сословий», их широкими европейскими связями и необычайной отзывчивостью к страданиям народа.

Существенное различие — скорее даже пропасть — в культуре «образованных сословий», с одной стороны, и народных, крестьянских по преимуществу, масс — с другой, порождало громадные трудности для демократически настроенных интеллигентов. Как никакой другой слой российского общества, эта часть образованных людей понимала всю несправедливость крепостнического строя в стране, острее всех переживала бедствия русского крестьянина, «простолюдина» вообще. Но проникнуть в эту чуждую для образованного человека темную среду, постичь побудительные причины, которые в состоянии были бы подвигнуть ее на действие, определить ее жизненные цели и ценности оказывалось для русского интеллигента делом невозможным — народная среда была придавлена бременем нищеты, неразвитости, предрассудков, создававших почти непреодолимую преграду между «баринном» (кем бы он ни был) и «мужиком».

Вот почему в условиях тогдашней России стать демократом означало нечто неизмеримо большее, чем просто признать значение народовластия. Требовалось совершить буквально коперниковский переворот в собственном мирозерцании, освоив европейский опыт, встав на точку зрения западной идейной традиции, социализма прежде всего.

Именно социалистическая мысль Европы раздвинула умственный горизонт наших первых демократов — Герцена и Чернышевского. Социализм привнес в провинциальную по европейским меркам жизнь России живое, крамольное эхо европейских проблем и борьбы. Но, главное, он, как казалось, ликвидировал, по крайней мере в области идей, мучительный для первых русских демократов разрыв между образованными людьми и народом. Оставаясь в пределах русской национальной ситуации это сделать было невозможно. В особенности революция 1848—1849 гг. показала исторические потенции народов, а также стимулы, которые поднимали «простолюдинов» к революционной борьбе.

Несмотря на неудачу восстания июньских инсургентов, а затем и поражение европейской революции, наши первые демократы увидели в выступлениях «работников» нечто неизмеримо большее, чем просто беспорядки, исчезающие по мере того, как проходит ситуация, их породившая — решающий фактор истории, способный обновить развитие общества, направить его по другому пути. И пусть впоследствии оба мыслителя (особенно Чернышевский) станут более трезво оценивать возможности народных выступлений, все равно демократические и социалистические идеалы прочно укоренятся в сознании российской разночинной интеллигенции. Демократизм благодаря им на десятилетия вперед приобретает социальную (в противовес чисто политической) ориентацию, ставшей по примеру европейского социализма революционной идеологией.

Однако события 1848—1849 гг., которые дали Герцену и Чернышевскому столь богатую пищу для размышлений, не оказали бы на них такого громадного воздействия и не стали бы исходным пунктом нового, демократически-социалистического мирозерцания, если бы не политическая борьба в России, развернувшаяся в России в связи с отменой крепостного права. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. показали им тот же антидемократический характер государственного либерализма и его клеветов, ту же

необходимость самостоятельного движения масс для победы над крепостничеством, что и в странах Западной Европы. После уроков, преподнесенных самодержавием русскому обществу в ходе проведения «великой» крестьянской реформы, уже нельзя было надеяться на добрую волю царизма и либерального дворянства.

События продемонстрировали всю глубину противоречия интересов «простого народа» и либералов, проявив, в чем заключается сущность различных направлений, кто и за что выступает, какие действительные интересы кроются за той или иной программой. Во всяком случае, по этим направлениям и программам можно уже было судить о реальных различиях интересов сословий и классов в деле освобождения крестьян. Герцен с некоторыми колебаниями, Чернышевский более решительно и последовательно пошли вперед и начали перестраивать свое мировоззрение в духе крестьянской демократии.

Освобождение крестьян в России подорвало веру первых русских демократов в возможность общего для всех сословий прогресса общества. Оказалось, что «народ» и либеральное дворянство имеют совершенно разные, по существу несовместимые друг с другом интересы. Все проблемы народа сфокусировались в нищете. Культура, требования духовного порядка, мораль, потребность в свободе и политических правах являлись неосуществимой утопией для тех, чья жизнь была наполнена изнуряющей и отупляющей работой на другого, у кого отняты средства вести жизнь, «достойную человека». Отсюда ведет начало противопоставление «политического» и «социального»: в «политическом» освобождении, по мнению наших демократов, заинтересованы — либеральное дворянство и буржуазия («высшие сословия»), в то время как для «низших классов» решающим является экономическое («социальное») освобождение.

Постановка проблемы освобождения крестьян на плебейско-социалистическую основу была шагом вперед в развитии русской демократической мысли. Вместе с тем подоб-

ный подход заключал в себе ряд серьезных трудностей и противоречий. С ними впоследствии столкнется народничество и не сумеет разрешить, вернее, разрешит в утопическом духе.

Главным источником неразвитости и политической апатии простолюдинов, понимает Чернышевский, является эксплуататорский строй — «сами принципы нынешнего быта», препятствующие «человеческому благосостоянию» и осуждающие большинство на неподвижность. Следовательно, чтобы просветить массу, поднять ее на уровень исторической жизни, нужно уничтожить современный порядок вещей. Но современный порядок не может быть уничтожен невежественной и темной массой. Получается замкнутый круг, разорвать который, оставаясь на почве тогдашней действительности, ни Герцен, ни Чернышевский не смогли.

Широко известно определение А.Линкольна: «Демократия есть правление народа, посредством народа и для народа». Но далеко не все, кто приводит слова Линкольна, отдают себе отчет в том, что формула эта возникла в стране, где отношения людей: имущественные, гражданские и прочие, почти изначально были опосредованы политикой, правом, законом. Переселенец из Европы самым актом переезда в Новый Свет освобождался от хлама средневековья, старых привычек, традиций, т.е. революционизировал себя изнутри. Кроме того, приверженность народных масс США либеральным нормам делала бессмысленным противопоставление «черни» (народа) «высшим классам», поскольку эта «чернь», по крайней мере в XIX—XX веках, была столь же либеральной по духу, по привычкам, как и «высшие сословия».

Противоположная ситуация существовала в России: здесь образовался глубокий зазор между существующим положением дел и элементарными нормами цивилизованного общества, между «народным» и «демократическим». Особенно остро переживал этот факт Чернышевский. (Находясь в Европе, Герцен придавал меньшее значение факту отсталости русского крестьянства, во всяком случае мессианские

мотивы его творчества и во многом вера в русскую общину сглаживали в его сознании драматизм ситуации. Другое дело Чернышевский.)

Если в первые годы своей просветительской деятельности он сравнивал свою родину с Францией и Германией, пусть даже в начале их исторического движения, то позже масштабом сравнения русского общественного и политического устройства становятся для него азиатские государства. «Азиатская обстановка жизни, азиатское устройство общества, азиатский порядок дел, — этими словами сказано все, и нечего прибавлять к ним»²³. «Азиатство» означает общественный строй, при котором «не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личности, ни труд, ни собственность»²⁴. «Азиатство» означает отвратительную администрацию и судебскую власть, которая «не выполняет своего предназначения». «Азиатство» — это полнейшая зависимость чиновников от расположения начальства (...лишь бы был доволен начальником, и никакая ответственность не упадет на них) и невозможность для общества «высказывать свое мнение о каждом официальном действии должностного лица». Наконец, «азиатство» — это бедность народа, политическая апатия масс, жалкое положение земледелия.

Прорвать этот заколдованный круг причин и следствий невозможно, уверен Чернышевский, ни при помощи общинного землевладения, ни при помощи установления частной собственности на землю: ни та, ни другая мера сами по себе не в состоянии устранить материальные причины, вызывающие отсталость экономики страны и умственную спячку народа.

Не община, вернее — не только и не столько община, тем более в ее наличной форме, при наличных условиях выдвигается в демократически—социалистической концепции Чернышевского на первый план, а способность массы к историческому действию, ее решимость уничтожить самодержавие, ликвидировать азиатские формы управления и хозяй-

ствования. Оселком всех проблем становится для него умственное, нравственное и политическое развитие трудящихся, без которого Россия не станет цивилизованной страной, а тем более не реализует социалистические потенции крестьянской общины.

Естественно, что эта тенденция социализма Чернышевского вступила в решительное противоречие с мессианским настроением герценовского «русского социализма». Скрытая полемика с Герценом, начавшаяся с невинного смещения акцентов, с политических разногласий (поездка Чернышевского в Лондон), вылилась в открытое столкновение принципов. И хотя можно согласиться с тем, что, критикуя мессианский настрой концепции «русского социализма», Чернышевский прибегает порой к некоторому огрублению взглядов Герцена, однако главное здесь — дух критики герценовских взглядов, характер аргументации Чернышевского. В его взглядах на «русский социализм» все более отчетливо просматривается понимание реальной исторической почвы, на которой может возникнуть новое (социализм). Община отходит на задний план потому, что преувеличенные надежды на нее при игнорировании условий, в которых она после реформы очутилась, способны, по Чернышевскому, только заслонить понимание задач демократической борьбы, утопить реальное положение дел в оптимистической фразе.

Впоследствии его последователи не смогут удержаться на уровне своего учителя. Акценты сместятся, пропорции будут изменены. Перспектива движения будет объявлена непосредственной задачей борьбы, а община превратится в единственное и всеспасающее средство от любых политических и социальных зол. Герцен в сознании большинства народников одержит верх над Чернышевским. И только трудным практическим путем поражений, борьбы и разочарований движение приблизится к пониманию исторических задач, стоящих на очереди дня в России. Реализм, свойственный Чернышевскому, возродится, но уже на новой основе и в новой форме — в форме пролетарского социализма.

Итак, демократическая традиция в России возникает и развивается в дальнейшем под воздействием европейской социалистической мысли и европейского политического опыта. Идеологическое содержание социализма сформировалось за пределами России — в Германии и во Франции, в Россию же были перенесены представления об общественном строе, сообразном интересам «низших классов» и критика буржуазно-либеральной перспективы. Однако вплоть до начала XX века социализм являлся достоянием лишь незначительного меньшинства, образованного общества, и не служил выражением широко распространенного и твердого сознания определенных массовых групп. «Народной верой» в форме антикапиталистической идеологии он становится только в начале XX века. Словом, возникнув в эпоху падения крепостного права, крестьянский социализм становится политическим ферментом и побудительной причиной возникновения народничества — сначала идеологии узкого слоя прокрестьянски настроенной интеллигенции («действенное народничество»), а затем и языка широких крестьянских масс («трудовики» во II Государственной Думе, левые эсеры). Во всяком случае, именно народничество предопределило появление группировки политических элементов, которая развилась впоследствии в совокупность партий, сыгравших существенную роль в трех русских революциях.

Каково же значение социалистического компонента в развитии народнического демократизма? Ответить однозначно на этот вопрос представляется затруднительным.

Прежде всего подчеркнем, что появление крестьянского социализма в России придало задаче демократической борьбы с крепостничеством исторически конкретный характер, т.е. способствовало углублению уже начавшегося подспудного движения умов, уясняя условия и предпосылки освобождения крестьян. Основатели народничества первые показали, насколько высшие классы пренебрегают интересами крестьянской массы. Им первым становится ясным, что

русское общество, подобно европейскому, расколото на «враждебные касты». В этих условиях перед русскими демократами встает трудный вопрос о путях развития общества, разделенного по своим интересам на враждующие партии. Не будучи в силах подняться до точки зрения классовой борьбы, Герцен, свидетель июньской трагедии в 1848 г., готов был отрицать историческое будущее стран Западной Европы. От полного краха и разочарования его спасла, как он сам признавался, лишь вера в Россию. Но исторический круг замкнулся в 1861 г. Россия, вступившая на дорогу Запада (правда, в специфической форме «самодержавной революции»), первыми же шагами обнаружила, что единства интересов не существует и тогда, когда речь идет о ломке заржавелых средневековых форм. Поставленный перед необходимостью решающего выбора, Чернышевский в отличие от Герцена предпочел миру единого общенационального интереса суровую правду борьбы «сословий».

Повторим, перед Чернышевским, демократом, социалистом, по совокупности принципов, по убеждению, основанному на изучении социальных явлений, вставали трудные, фактически неразрешимые проблемы. Он видел, что силы привилегированных сословий, несправедливо угнетающих большинство, имеют громадный перевес в современной ему России. Конечно, уверен он, за «простолюдинами» историческое будущее. Но в данный момент (начало 60-х гг. XIX века) крестьянская масса забита, темна, неподвижна. Если даже на Западе крестьяне в революции составляли, как правило, оплот реакционных сил, то что говорить о России, о российских простолюдинах. «Народ невежественен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек, — с горечью писал Чернышевский в «Письмах без адреса». — Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию»²⁵.

Расшевелить эту массу, привести ее в движение не под силу пропаганде, печатной или устной — все равно: мужик, угнетенный проблемами существования и привыкший обращать внимание только на то, что полезно, положительно, зашевелится только в силу экономических причин. История Западной Европы свидетельствует, что народ поднимается к исторической жизни «фактами жизни — общественными отношениями и великими историческими случайностями, вроде какого-нибудь неурожая или другого бедствия». Но народный взрыв — это лишь предпосылка исторического движения. Условием прогресса является «умственная самостоятельность» массы, воспитать которую — дело необычайно трудное. Социальный прогресс, предупреждает Чернышевский, совершается чрезвычайно медленно, сопровождаясь «целою тучею самых неблагоприятных обстоятельств и случаев»²⁶, настолько медленно, что если ограничиться короткими периодами, то различные зигзаги и колебания в общем поступательном движении истории могут заслонить действие «общего закона».

Однако эпоха Чернышевского была слишком бедна исторической самодеятельностью «наших сословий», по крайней мере в России, а пути, способствующие ее развитию, оставались слишком неясными, чтобы выдвижение на первый план «энтузиазма массы к действию» могло принять у него сколько-нибудь конкретную форму.

Незрелости общественных условий соответствовала и неразработанность демократической политической программы. Если для Герцена свобода личности была краеугольным камнем его политического мировоззрения (отсюда, в числе прочего, и его «либеральные» колебания в оценке крестьянской реформы), то Чернышевский ставит во главу угла демократических преобразований не ту или иную форму политического устройства, а способность народа влиять на власть. В прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» в нарочито простонародном стиле он отмечает преимущества республики с выборным «народным ста-

ростой» и в то же время не исключает и конституционной монархии. «А то и при царе тоже можно хорошо жить... только значит с тем, чтобы царь во всем народу послушанье оказывал и без народу ничего сделать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел...». И дальше: «Чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы паспортов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть»²⁷. Правда, соединить борьбу за политические преобразования с настроениями неразвитой крестьянской массы он оказался не в состоянии: сама действительность создавала непроходимую пропасть между материальными потребностями народа и борьбой за политические преобразования. В поисках выхода Чернышевский обращается к «среднему сословию», т.е. к буржуазии, возможности которой он раньше, вслед за Герценом, недооценивал. Возможности «среднего сословия» не исчерпаны еще даже на Западе, нечего и говорить — такова логика его статьи «Апология сумасшедшего» — что они не исчерпаны в России, стране только начавшей приобщаться к мировой цивилизации. Какая из альтернатив победит в России — историческая самодеятельность трудящихся классов или активность «среднего сословия», которое «не переделало всего, что хочет и должно переделать» — он не знает. К тому же европейская история настраивала его на пессимистический лад относительно политических способностей народа.

Вот документ, свидетельствующий об опасениях Чернышевского относительно роли народа в политике. «Он говорил нам, — вспоминает В.Н.Шаганов слова ссыльного Чернышевского, — что со времен Руссо во Франции, а затем и в других европейских странах демократические партии привыкли идеализировать народ, возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию.... Он, Чернышевский, знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от иг-

норирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя и даже, в счастливых случаях, приобретает себе самодержавие, передавал его первому пройдохе»²⁸.

Как видим, Чернышевский нисколько не идеализирует политические режимы, вырвавшиеся из народных революций. Но социологический реализм не ведет его к анархизму и отрицанию значения любых политических форм. Он просто призывает относиться ко всем этим формам критически. «Конечно, — продолжает излагать мысли Чернышевского Шаганов, — формы — вещь ненадежная. Можно при всяких формах выстроить крепкий острог для трудолюбивого земледельца. С другой стороны, быть может, и хорошо, что формы ненадежны. При них всегда возможна борьба партий и победа одной партии над другой, и на практике победа всегда прогрессивная. Страшнее — бесформенное чудовище, всепоглощающий Левиафан»²⁹.

Чернышевский как будто заглядывал в далекое будущее России, совершившей в начале XX века социальную революцию. Его последователи и продолжатели, претендовавшие на продолжение его дела, такие, например, как большевики, не поймут предупреждений Чернышевского: они добровольно, во имя революции создадут условия для появления «всепоглощающего Левиафана».

Если иметь в виду конкретный политический аспект учения Чернышевского, его реальную политическую программу (а не теоретическое предвидение социализма), то можно сказать, что он, как правило, не выходил за рамки непосредственно назревших антикрепостнических преобразований. Борьба во имя социалистических идеалов никогда не заслоняла от него, в отличие от Герцена, животрепещущих задач данного исторического момента, как это будет иметь место у революционных народников. Не упуская из виду общей исторической перспективы, он в то же время умел «ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одной частью своей системы, удобоиспол-

нимою и для настоящего»³⁰. В этом смысле его можно назвать демократом без всяких народнических наслоений. В его работах намечены контуры нового соотношения социально-политических сил. Один из немногих, Чернышевский предвидел, что русское освободительное движение не сможет восторжествовать и добиться своих целей, если не примет в итоге характера глубокой социальной революции, преобразующей в интересах трудящихся масс отношения собственности. Поскольку он предвидел новую общественную ситуацию в России, равно как и необходимость более высокого размежевания политических сил, постольку он поднимался над горизонтом «обычного» демократизма. Он — идеолог плебейской, крестьянской демократии в отличие от либерализма и либерально-демократических элементов освободительного движения.

Вместе с тем социалистическая доктрина существенно трансформировала идею демократии в России в том смысле, что приучила демократов рассматривать экономическую проблему как ключевую, определяющую, измерять все ценности в утилитарном выражении. Фундаментальная проблема нравственной свободы человека, прав личности фактически не существовала для демократов-народников, российских социал-демократов или проявлялась исключительно в связи с преобразованием экономических отношений. Проблемы совести, свободы индивида, политического строя, способного обеспечить демократические права граждан, при этом не отрицаются, но они либо переносятся в отдаленное будущее, либо не признаются сколько-нибудь значимыми в ходе революционного преобразования общества.

В условиях самодержавного правления российский демократ, вполне естественно, главным вопросом политической жизни считал правление большинства. Но это не был классически либеральный вопрос о сочетании правления большинства с уважением прав меньшинства. Нет, согласно российской народнической традиции большинство изначально право, потому что он большинство. Даже разделяя

опасения перед дикостью, неразвитостью, предрассудками большинства, российский демократ твердо верит: интересы и права «народа» священны, вся проблема в том, чтобы любыми путями и средствами добиться их осуществления в жизни.

В этом пункте мы подошли к важной проблеме — противостоянию демократии и либерализма. Демократическая идеология зарождается в России как альтернатива либерализму. Вследствие своеобразной, но неизбежной в условиях России аберрации политического сознания народничество, а позже и партия эсеров, сделали орудием своих эмансипаторских планов ту самую доктрину равенства (правда, дав ей антибуржуазное и «социальное» истолкование), которая, будучи развита некогда в виде «естественного права» параллельно с формированием экономической теории, составила идеологию борьбы буржуазии за общество, покоящееся на либеральных ценностях, свободе торговли и кодексе гражданского права. Но в России эта доктрина равенства приобрела антилиберальный, антибуржуазный характер.

Невозможность объединения или хотя бы взаимопонимания демократии и либерализма в России деформировала и демократическую, и либеральную идеологию: наши демократы, начиная с Герцена и Чернышевского, не уставали обличать либеральные свободы, а либералы из «образованного общества» сторонились демократизма, усматривая в нем главную опасность свободе и правам личности (Б.Н.Чичерин). В результате демократизм в России все больше принимал плебейски разрушительный характер, а либералы вынуждены были сблизиться с охранительным направлением, поддерживать «рациональные» действия царизма.

Демократы, включая большевиков, во имя демократизма вынуждены были идеализировать крестьянскую, а затем плебейски-пролетарскую массу, приписывая ей согласно западноевропейским социалистическим канонам все мыслимые социальные добродетели (коллективный дух, революционную самодеятельность, освободительную миссию и т.п.).

И все это — в стране, где большинство составляли традиционалистски- и царистски- настроенные крестьянские массы, едва затронутые буржуазной цивилизацией, где рабочий класс европейского типа был в общей массе городского плебса исчезающе малой величиной, где среди крестьянства господствовала крепостнически-патриархальная культура. В свою очередь, консервативное осуждение масс, боязнь «черни» (т.е. фактически народа) обрекали российских либералов, включая и либералов новой формации начала XX века, на политическую изоляцию, а их идеологию — на утрату освободительного аспекта, на примирение с самодержавием против демократического революционаризма. В результате либеральная доктрина долгое время несла на себе в России клеймо охранительной, консервативной идеологии. Конечно, можно восхищаться интеллектуальным мужеством людей, которые не желали раболепствовать перед темной, неразвитой массой, но в политике нежелание, неспособность понять свой народ, каким бы он ни был, грозят крахом.

Именно во имя свободы, именно для обеспечения реальной свободы большинству населения России, а не только образованному, рационально мыслящему меньшинству, российские либералы должны были требовать конца сословным привилегиям и мер по экономическому раскрепощению крестьянства. Только при этом условии они могли бы укоренить традиции европейского либерализма в российской почве, выполнить прогрессивную функцию, оказаться в силу внутренних устремлений, воодушевляющих их принципов на высоте исторической задачи. Однако российский либерализм не нашел в себе потенций подняться до понимания требований прогресса. Чтобы стать организованной политической силой, а тем более приобрести массовую поддержку, либерализму в России недоставало многого. Но главное, пожалуй, заключалось в том, что в условиях крестьянской страны, начавшей переход к капитализму, генеральная для либерализма проблема «свободы личности» не могла стать

фокусом политической жизни. Восприятие либерализмом индивида как высшей реальности, более высокой, чем общество с его структурами и институтами, находилось в разительном противоречии с общественной жизнью России, где для огромной массы людей речь шла об элементарном физическом выживании, где нищета и полуголодное существование ограбленного «великой реформой» мужика оказались предпосылкой экономического и социального прогресса страны. Можно, конечно, сказать, что либерализм слишком долго разделял иллюзию, будто при господстве самодержавия из местного самоуправления, т.е. земства, «самотеком» (Маклаков) способна вырасти конституция, или что он — в лице кадетов — запоздал с провозглашением лозунгов борьбы за конституционный и демократический строй. И все-таки, как представляется, дело не в ошибках: корни «неудачи» либерализма лежат глубже — в истории страны, в культурном расколе высших и низших классов, в ограниченности пределов (пространственных и временных) новоевропейской цивилизации в условиях вызревания плебейско-крестьянской революции.

Вернемся, однако, к родоначальникам народничества, к роли социалистического ингредиента в их идеологии.

Жестко придерживаясь основоположений «русского социализма», Герцен развивает в ряде своих работ противоречащее действительности, хотя и «правильное» с точки зрения народнической доктрины, понимание характера и задач предстоящего переворота. Политический переворот, доказывает Герцен, прокладывает дорогу буржуазной республике, которая столь же враждебна народу, как и монархия. Поскольку буржуазная республика сохраняет условия угнетения и эксплуатации, она монархична по своему существу, «всегда может сделаться монархией или, еще хуже, попасть под деспотическую власть плута или солдата, под самовластие предательского, но самодержавного Собрания, под гнет проданного министерства и его агентов»³¹. Борьбаться за такую республику, доказывает Герцен, бессмысленно, она не

стоит не только крови, но даже и чернил. Где же выход? Он заключается, по Герцену, в развитии исконных начал русской народной жизни — общины, сельского мира. «Наш переворот должен начаться с сознательного возвращения к народному быту, к началам, признанным народным смыслом и вековым обычаем. Закрепляя право каждого на землю, т.е. объявляя землю тем, чем она есть — неотъемлемой стихией, мы только подтверждаем и обобщаем народное понятие об отношении человека к земле. Отрекаясь от форм, чуждых народу, втесненных ему полтора века тому назад, мы продолжаем прерванное и отклоненное развитие, вводя в него новую силу мысли и науки»³².

Как видим, проблема соотношения «социализма» и «политики» решается Герценом в пользу «социализма». Не случайно он первый подверг критике точку зрения Чернышевского, который попытался обосновать роль политического руководства народным восстанием. В своей статье «Не начало, а перемены?» (1861) Чернышевский доказывал, что стихийный взрыв народного возмущения сам по себе не способен дать прочных исторических результатов. Он будет иметь значение фактора прогресса лишь в том случае, если найдутся в обществе силы («сильная рука»), которые сумеют направить народное недовольство в надлежащее русло. Полемическим ответом Герцена Чернышевскому стала статья «Мясо освобождения» (1862). Главная идея герценовской заметки, а также последующих статей, касавшихся этого сюжета, — особый путь развития русской социальной революции. Герцен придает огромное значение социалистическому характеру переворота, усматривает неудачу всех европейских революций в том, что народу навязывали политическое освобождение. Народ не слушали, а поучали, воспитывали. С ним обращались, как с «мясом освобождения», «вроде наполеоновского пушечного мяса». Предпочитали «писать у себя в кабинете счет без хозяина, чем его спрашивать у него...». Отсюда трагедия июньских дней 1848 г.

Статья «Мясо освобождения» и другие статьи Герцена еще только обозначают контуры направления, которому впоследствии предстояло сыграть столь важную роль в революционном народничестве. Тем не менее некоторые пункты идеологии будущего русского бунтарства здесь уже налицо: «социальный вопрос» довлеет над всеми остальными, политическая демократия рассматривается исключительно под углом зрения обеспечения ею гегемонии господствующих классов, народ как субъект социального переворота берется абстрактно, независимо от его политической зрелости.

Таким образом, народническая доктрина, будучи демократической по своему реальному историческому содержанию, тем не менее препятствовала пониманию значения политической борьбы и политических свобод. Народник сторонится «политики», т.е. самостоятельной борьбы за республику (или Земский собор), за конституцию, политические свободы и т.п. Он, по выражению Ленина, «фыркает» на буржуазный демократизм, усматривает в нем прикрытое парламентарскими формами господство антинародной буржуазии.

Нет слов, с точки зрения представлений о современной демократии народническое понимание демократизма выступает примитивным и ограниченным. Оно и на самом деле является таковым, поскольку главные условия для выработки новоевропейской концепции демократизма, в дореформенной и пореформенной России просто отсутствовали — их предстояло еще завоевать. Социалист по всей совокупности взглядов, убеждений, вынесенных из изучения науки и политического опыта Европы, демократ по своей вере в историческую правоту народа, по чувству сострадания, русский разночинец был на стороне «простолюдинов» против «высших сословий». При этом его восприятие демократических ценностей и идеалов находилось в зачаточном состоянии. Не следует, однако, забывать, что борьба за этот своеобразный, ис-

торически ограниченный идеал демократизма составляла необходимый элемент социальных преобразований России и условие ее выхода (пусть не сразу, а через горнило трех революций и кошмар тоталитаризма) к новым историческим рубежам.

ГЛАВА III

ДЕЙСТВЕННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО: СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА*

Мы видели выше, как накапливались в ходе идейной эволюции Чернышевского новые элементы, чуждые ортодоксальной доктрине «русского социализма». Шаг за шагом Чернышевский не только отклоняет претензии Герцена на мессианскую роль русской общины в отношении социального переворота, но и доказывает единство исторического пути России и западноевропейских стран при всем своеобразии русских экономических и культурно-бытовых условий. Даже собственно социалистическое учение претерпевает у него определенную трансформацию. Община перестает рассматриваться в качестве единственной формы некапиталистического развития. К ней прибавляется производственная ассоциация в духе Фурье или Оуэна, основанная на началах взаимопомощи, а также ассоциация с государственной помощью³³. Но главное, что становится определяющим моментом его взглядов, — это четкое осознание необходимости свержения всех старых властей, идея самостоятельной борьбы трудящихся за свое освобождение.

Непосредственно перед реформой Чернышевский окончательно укрепляется в мысли, что России придется позаимствовать кое-что существенное из политического опыта ушедших вперед в своем развитии западноевропейских стран. Центр тяжести его доктрины социализма переносит

* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 03040137а).

ся с крестьянской общины как фактора обновления жизни общества на непосредственные задачи борьбы с азиатщиной в политическом устройстве, нравах, культуре страны. Иными словами, вынужденный существовать и бороться в настоящем, Чернышевский не хочет рассматривать его только в категориях будущего. Этот поворот к вопросам политической демократии, от решения которых непосредственно зависели судьбы освободительного движения, был серьезной победой политического реализма Чернышевского над социалистическим утопизмом. Теоретик-социалист, развивавший свои идеи «с одной заботой о справедливости и последовательности системы», Чернышевский показал тем самым, что он является и великим политическим мыслителем.

В отличие от Чернышевского у «семидесятников» речь идет уже не о собственно теоретической концепции крестьянского социализма, а о построении философии действия в самом широком смысле этого слова. Народнические писатели сознательно стремятся утвердить новый статус крестьянского социализма, разрабатывают систему взглядов, цель которой — борьба за реализацию социалистических идеалов. Их задача заключается в том, чтобы нащупать пункт, в котором совершается «логический» переход от мировоззрения к морали, соответствующей этому мировоззрению, от «теории» к «действию», от философии к практической борьбе, обусловленной этой философией.

В рамках крестьянского социализма возникают теории и доктрины, которые прямо «замыкаются» на революционную практику. В сущности, здесь можно говорить о структурных изменениях социалистической теории; стратегический взгляд Чернышевского на русскую социалистическую революцию сменяется у народников «конкретной» политической программой, которая включает в себя в качестве важнейшего компонента определение практического пути ее осуществления.

В теоретическом плане новая идеология выступила против провиденциальной веры в некий объективный «разум истории», который в итоге всегда одерживает верх над нера-

зумными общественными порядками, против изображения долга индивида в качестве его «естественной потребности», моральных требований — в качестве «эгоистического интереса», т.е. против наивно оптимистического понимания общественного обновления. В особенности П.Л.Лавров в своих «Исторических письмах» настаивает на том, что прогресс в истории не представляет собой какого-либо императива или закона, присущего естественной и непосредственной смене человеческих поколений, что он немыслим помимо сознательных действий людей, в первую очередь «критически мыслящих личностей», способных руководствоваться интересами народных масс. Цель, которую теоретики народничества ставили перед собой, заключалась, таким образом, не в том, чтобы построить какую-то новую доктрину, отличную от крестьянского социализма, а в том, чтобы попытаться поднять на более высокий уровень всю сферу сознания и деятельности русской демократической интеллигенции. Этико-социологический подход к общественным вопросам позволял влиять на ценностное отношение русского разночинца к действительности: он открывал перед ним новые горизонты моральной ответственности («общественный прогресс», «благо народа», «социальная справедливость»), новые реальности, которые индивид должен был принять во внимание, делая свой нравственный выбор.

Как политическая доктрина народничество в общем и целом ориентируется на историческую инициативу революционного меньшинства. Поучительные уроки 1861—1863 гг., когда темное, забитое крестьянство оказалось не в состоянии пойти дальше стихийных бунтов, приводят народников к выводу, что без решительных действий революционеров России не может сложиться ситуация, благоприятная для выступлений народа. Какой характер должны принять действия революционеров — пропаганды, агитации, организации заговора, — каждое направление отвечало на этот вопрос по-своему. Единство взглядов существовало лишь в том пункте, что всякий отказ от подобной работы является несовместимым со званием революционера и социалиста.

Комплекс политических истин народничества отличается от соответствующих взглядов Чернышевского изменением в сторону значительной вульгаризации. Многое из того, что у Чернышевского рассматривалось в качестве проблемы, у народников выступает как решение. Готовые формулы, истины, полагаемые за известные, идущее вперед видение предмета — все это придает действительному народничеству характер идеологической односторонности и невыгодно отличает его от революционно-демократических взглядов 60-х гг. Однако не следует забывать, что без известного упрощения социалистических демократических идей, без появления *нормативного* плана теории крестьянский социализм не смог бы завоевать умы и сердца разночинной интеллигенции, не смог бы стать устойчивым течением общественной мысли страны. То, что в конце 50 — начале 60-х гг. было доступно кучке талантливых публицистов, теперь становится достоянием целого общественного слоя — крестьянско-демократической интеллигенции.

Было бы неверно приписывать указанный идейный сдвиг лишь влиянию народнической публицистики. Как ни велико было значение работ П.Л.Лаврова, В.В.Флеровского, М.А.Бакунина, Н.К.Михайловского и др., они не смогли бы вызвать формирование русской прокрестьянской партии, если бы под воздействием ряда исторических обстоятельств в общественном мнении не обозначалась бы антилиберальная, сознательно демократическая тенденция. Именно она послужила непосредственной основой формирования действительного народничества и превратила указанных писателей в идеологов целого направления в русской идейной и общественной жизни.

Обстановка экономических и социальных перемен, характерная для пореформенной эпохи, повлияла на весь строй мысли разночинцев 60–70-х гг. Создается новая читающая публика, у которой отзывчивость к общественным вопросам, социальным требованиям сочетается с обостренным чувством справедливости. Михайловский несколько не кривил

душой, когда много лет спустя объяснял причины своего литературного успеха существованием «друга-читателя», поминавшего его «с полуслова». Точно так же и Лавров обязан популярностью своих «Исторических писем» прежде всего революционному энтузиазму молодежи.

Огромное впечатление на русскую демократическую интеллигенцию произвели бедствия крестьян во время голода 1867—1868 гг. и особенно 1873 г. Они не только пошатнули веру в антибуржуазные свойства реформы, но и связали причинной связью в сознании интеллигенции обнищание крестьянства с развитием страны по буржуазному пути. Отныне борьба за освобождение крестьян отождествляется русской демократией с борьбой против «капитализма». В свете социалистического движения пролетариата на Западе наполняется новым содержанием идея борьбы низших сословий против высших, бедных — против богатых, сформулированная еще Чернышевским. Теперь эта борьба рассматривается как неизбежное следствие устройства современного общества, как нечто такое, что может закончить с эксплуатацией человека человеком и проложить путь к социализму.

Чувство духовной общности с борьбой западноевропейского пролетариата за свое освобождение порождает специфическую аберрацию сознания: «рабочий класс», независимо от того, в каких условиях он живет и борется, начинает выступать в глазах демократической интеллигенции субъектом исторического прогресса, с ним связываются надежды на приближающееся обновление мира, на переворот, идущий неизмеримо дальше традиционных «буржуазных» рамок.

Конечно, за разговорами о «народе» и «рабочем классе» стоял не реальный крестьянин России или рабочий Запада, а русский интеллигент-разночинец, со своей совестью и своими проблемами. Оторванный образованием от темного, забитого мужика, он стремился вернуться к нему, соединиться с ним. Говоря современным языком, интеллигент-разно-

чинец испытывал определенный комплекс по отношению к народу, поэтому он спешил возвысить народ и наделял его самыми благородными качествами. Обездоленный крестьянин приобретает в его глазах роль мессии, призванного обновить мир. Фигура крестьянина и весь уклад крестьянского «мира» идеализируются. Прошлое народа рисуется в романтической дымке, а все социальное зло (угнетение, неравенство, пассивность) относится за счет господствующих классов и государства. Народ, как туча, лежал на горизонте нашей жизни со времени освобождения, вспоминал В.Г.Короленко. Правда, туча еще не шевелилась. «В ней одно время не видно было даже зарниц и не слышно даже отдаленных раскатов, но загадочная тень уже ложилась на все предметы еще светящейся и сверкающей жизни, и взгляды невольно обращались в ее сторону. Молодежь, наиболее впечатлительная и чуткая часть общества, сделала свои выводы»³⁴. «От ликующих, праздно болтающих, обгаряющих руки в крови» она двинулась туда, где «работали рабочие руки» и где зрела, как ей представлялось, формула новой жизни.

Каким бы наивным ни казалось нам сейчас это мировоззрение, не забудем, что оно давало закваску всей народнической литературе, и эмигрантской и русской, подцензурной. На него опиралось, к нему апеллировало большинство демократических публицистов. Оно сыграло не последнюю роль в повороте революционной молодежи к непосредственным действиям против самодержавия.

По своим теоретическим взглядам народники были социалистами. В этом смысле революционное народничество продолжает традиции Чернышевского. Они социалисты, потому что выступают против всех и всяких форм угнетения трудящихся. Они социалисты, поскольку разоблачают плутократическую природу либерализма и чувствуют буржуазность пореформенных порядков. Наконец, они социалисты по чувству, по симпатиям, по деятельности. Однако в отличие от Чернышевского, для которого идеалы социализма никогда не заслоняли задач данного этапа борьбы, в воззре-

ниях народников появляется отрицательная черта. Они абсолютизируют ограниченную доктрину в ущерб живому, многостороннему пониманию действительности.

Элемент утопической доктрины порою настолько довлеет в народничестве, что приводит русских революционеров к серьезным антиисторическим ошибкам. Так они оказались не в состоянии понять, что создают социалистическую программу в полукрепостнической стране, в условиях значительно более отсталых, чем те, которые существовали в Западной Европе. Думая главным образом о том, как избежать господства буржуазии, они готовы были игнорировать необходимость создания широкого движения за политическую свободу. Только опыт «хождения в народ» и деятельность «Земли и воли» внесли решающие коррективы в теорию и практику народников: борьба народовольцев ведется уже под флагом политического освобождения страны. Вместе с тем несомненной заслугой действенного народничества перед русским освободительным движением останется правильное осознание утопичности всех попыток мирно, без насилия, с помощью конституции, «пожалованной» монархом, выйти из запутанного клубка противоречий, созданных веками русской истории. В этом отношении все народники — «бунтари», «пропагандисты», «набатовцы» — более реалистичны, стоят ближе к истине, к правильному взгляду на вещи, чем русские либералы с их реакционными политическими иллюзиями получить свободу без борьбы, европеизировать страну без уничтожения помещичьего землевладения. Другое дело, что верная мысль о необходимости крестьянского восстания, его победы над самодержавием и помещиками облекалась у народников в неадекватную политическую форму.

Движение дает вначале перевес взглядам Герцена. «Бунтари» не признают необходимости борьбы за политическое освобождение. Это вполне естественное явление, ибо понять значение политической борьбы с точки зрения крестьянского социализма вообще нелегко: ориентация его на сельскую общину как на более или менее готовую ячейку социализма

до поры до времени заслоняет понимание политических условий переворота. Вот почему народники начинают с отождествления «социального» и «политического». Только тяжелый опыт убеждает революционеров в необходимости политической борьбы как способа осуществления социализма. Но это уже не просто возврат к Чернышевскому, а нечто новое, родившееся в качестве практического отрицания народнической доктрины, оно и заставило революционеров обратиться к марксизму, теории и идеологии пролетариата.

Таким образом, правильный взгляд на значение борьбы за политическое освобождение несовместим с народнической доктриной; в пределах последней признание политических целей движения возможно лишь в форме ткачевизма — тактики заговора с целью захвата орудий государственной власти. Означает ли это, что точка зрения революционных демократов эпохи падения крепостного права, понимавших значение политической борьбы, была ближе к истине, чем народничество? Ответить на этот вопрос не так просто, как представляется на первый взгляд. Вне сомнения, революционеры-«шестидесятники», как показывает анализ прокламаций 1861—1862 гг., несмотря на все их различия, не теряют из виду политические задачи демократии. С одной стороны, точка зрения прокламации «Великорус», с ее революционно-демократической программой, точной и четкой, но лишенной каких-либо связей с социализмом, с другой — огаревское воззвание «Что нужно народу?», с его неизжитыми либеральными иллюзиями и пренебрежением к вопросу о форме власти; с третьей — политическая программа «К молодому поколению», ставившая в неразрывную связь политические и социалистические преобразования, — все они так или иначе выделяют борьбу за политическое освобождение страны. Даже Ишутин, за которым в нашей литературе прочно установилась репутация противника политических преобразований в общем и целом, как показала Э.С.Виленская, понимал значение политического переворота для «правильного социального устройства низших общественных классов»³⁵.

Несомненно, что анархическое бунтарство является шагом назад в демократическом мирозерцании по сравнению с цельной программой политического освобождения, сформулированной «шестидесятниками». И чем последовательнее развивали народники свою анархическую точку зрения, тем дальше уходили они от правильного понимания задач русской революции. Однако истина всегда конкретна. Выдвигая идею конституции, Земского собора, большинство демократов эпохи падения крепостного права исходили из того, что крестьянство вместе с «культурными классами», под руководством их может добиться удовлетворения своих нужд — освобождения от крепостного права, снижения суммы выкупа, правовой самостоятельности и т.п. Народники уже не верят в возможность освободить крестьянство под эгидой либерального общества. Уроки реформы не прошли для них даром. Трагедия Коммуны и торжество ее либеральных палачей окончательно оттолкнули русских революционеров-разночинцев от буржуазного республиканизма и буржуазно-демократической идеологии. Резче обозначился и корыстный характер русского либерализма. Своим поведением после реформы русские либералы показали, что под «европеизацией» России они понимают не что иное, как путь преобразований в духе реформы 1861 г. Русская буржуазия не смогла выдвинуть сколько-нибудь радикальной политической программы. Предел мечтаний либералов ограничивался бессильными вздыханиями насчет «увенчания» здания реформы дарованием монархом конституции. Ни о каком свержении монархии, ни о каком посягательстве на помещичью собственность они и не помышляли.

Естественно, что в качестве законной, хотя и неадекватной, реакции на такое «политическое» мирозерцание революционеры переходили к отрицанию «политики», т.е. борьбы за политические свободы, конституцию и т.д., к идее непосредственного «социального» переворота. «Политика» служила для них живым воплощением сделки с властью имущими, напоминанием о невозможности решить таким пу-

тем вопросы, касающиеся коренных интересов народа. Другими словами, анархизм являлся в тех условиях своеобразной формой разрыва русской революционной демократии с либеральным холопством в политике, с буржуазным затушевыванием жгучих экономических («социальных») проблем. Переходя к анархизму, «социалист» из культурных классов как бы свидетельствовал о готовности стряхнуть со своих ног прах буржуазного общества.

Таким образом, распространение теоретически беспомощной и практически неверной доктрины свидетельствовало не просто о теоретическом заблуждении, но о сложном противоречивом идеологическом движении русской революционной демократии.

Имея это в виду, обратимся к анализу доктрины М.А.Бакунина — основателя русского анархизма. Бакунин — сложная, противоречивая фигура, и значение его для революционного движения Запада и России различно.

На Западе, где на повестку дня были поставлены организация и социалистическое просвещение пролетариата, деятельность Бакунина, практическая и теоретическая, играла реакционную роль. Она отражала настроение и психологию отчаявшихся в своем спасении мелкобуржуазных слоев, разоряемых капитализмом, их неспособность к выдержанной, систематической, организованной классовой борьбе. Бакунизм являлся проводником буржуазного влияния на пролетариат. Как писал В.И.Ленин, *«тогда, после поражения Парижской Коммуны, история поставила на очередь дня: медленную организационно-просветительную работу. Иной не было. Анархисты не только теоретически были (и остаются) в корне не правы, и экономически и политически»*³⁶.

Это относится прежде всего к деятельности Бакунина как лидера анархического направления в I Интернационале, к его яростной, не останавливающейся ни перед чем борьбе против Маркса и марксизма. Преодоление бакунизма, политический и организационный разрыв с ним явились

важным шагом в развитии западноевропейского рабочего движения, в деле освобождения его от мелкобуржуазного социализма.

Бакунизм как теоретическая доктрина развращал социалистическое сознание западноевропейских рабочих. В нем не было ни понимания причин эксплуатации пролетариата при капитализме, ни понимания законов развития капиталистического общества. Анархизм отрицал классовую борьбу как творческую силу осуществления социализма, не признавал роли политики в буржуазном обществе, отрицал необходимость организации и воспитания рабочих.

Бакунизм в России, точнее, «переделанный на русский лад бакунизм»³⁷, как выразался Плеханов, играл существенно иную роль. Он был здесь одной из разновидностей революционно-демократической идеологии русского бунтарства. Антигосударственная проповедь Бакунина воспринималась в народничестве как призыв к уничтожению самодержавия, царской империи. Специфическое звучание приобрела среди русских революционеров и идея политического воздержания: народники истолковывали ее в смысле отрицания буржуазной политики, т.е. легальной деятельности в рамках существующего строя. По их мнению, предстоящая социалистическая революция покончит одновременно и с социальным, и с политическим гнетом.

Как идеолог народничества Бакунин отвечал на потребность революционной интеллигенции 70-х гг. — стремлению действовать. Вот почему Бакунин, не давший в собственно социалистической теории ничего, кроме «общих фраз против эксплуатации» (Ленин), тем не менее стал основателем целого направления в революционном народничестве. Каждое время требует слуги своего...

Бакунин — непримиримый противник всякого государства, независимо от его формы, степени демократичности и т.п. Для него, как и для Герцена, «слово: республика не имеет другой цены, кроме цены *чисто отрицательной*: оно означает разрушение, уничтожение монархии»³⁸. Как и мо-

нархия, республика не способна обеспечить гражданам благоденствие и свободу. «Правительственный деспотизм» процветает при республике ничуть не меньше, чем при монархии, более того, становится сильнее и страшнее, поскольку «опирается на мнимое представительство мнимой народной воли»³⁹. Поэтому цель социальной революции, по Бакунину, — уничтожение всякой государственности, потому что в ней всегда скрыт «деспотизм управляющего меньшинства». Бакунин не мыслил себе *политической* борьбы во имя социализма. Всякое политическое движение, говорил он, «не может быть иным, как движением буржуазным» или совершаемым «в пользу радикальной буржуазии».

«Между монархией и самой демократической республикой, — конспектирует Бакунина П.А.Кудрявцев, участник вятского народнического кружка, — существует только одно существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной»⁴⁰.

В отличие от Чернышевского Бакунин постулирует готовность русского народа к социалистической революции: «Он (народ. — *И.П.*) может похвастаться чрезмерною нищетою, а также и рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием...». Ни о каком предварительном политическом воспитании народа не может быть и речи. Идеал социализма уже существует в массе народа, по крайней мере в общих своих чертах. Он выдвигается из «глубины народной жизни» и есть результат «его (народа. — *И.П.*) стремлений, страданий, протестов, борьбы». Народное развитие соверша-

ется «не путем книжного образования», а «путем естественного нарастания опыта и мысли», «путем бесконечного ряда тяжких и горьких исторических испытаний». Бесперывные крестьянские бунты на Руси, в особенности разинский и пугачевский, доказывают, по Бакунину, что народ созрел для победоносного «экономическо-политического» переворота. Идеал русского народа характеризуется тремя главными особенностями: во-первых, «это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственноручным трудом»; во-вторых, «право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами»; в-третьих, «это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительное враждебное отношение общины к государству»⁴¹. Правда, признает Бакунин, этот идеал омрачен некоторыми отрицательными чертами (патриархальность, поглощение лица миром, вера в царя, религиозность). Исправить народный идеал возможно, лишь опираясь на внутренние тенденции, коренящиеся в самом народе.

Тип мышления Бакунина с логической стороны довольно высок. Кое-что взято от марксизма, например постановка вопроса о путях преодоления религиозности народа. Но никакое логически развитое мышление не спасает Бакунина от социального утопизма и элементов фантастики. Метод имманентного рассмотрения действительности он применяет к анализу социального объекта, лишенного внутренних потенций обновления, — русской крестьянской общины. Вот почему все его претендующее на научность построение является на деле иллюзией, понятной и оправданной в конкретных условиях начала 70-х гг., но все-таки иллюзией. Книга «Государственность и анархия» не система доказательств и рассуждений, но прежде всего и главным образом политический манифест, цель которого — вызвать к жизни практическую деятельность и волю. Бакунин призывает к сознанию и чувству молодежи. Он доказывает, что громадная

азиатская страна с крестьянским по преимуществу населением, темным, бесправным, забытым, стоит накануне грандиозного социального переворота и что народное освобождение зависит только от энергии и самоотверженности революционеров. Можно ли было молодежи, рвавшейся к непосредственному революционному делу, остаться глухой к этим призывам?

С критикой бакунизма первым выступает «Народное дело», редакция которого позже составила ядро Русской секции Интернационала.

Теоретическая и политическая деятельность членов Русской секции Интернационала имела немаловажное значение для революционного движения в России.

Последователи Чернышевского, члены Русской секции Интернационала ставили себе целью развивать учение своего учителя в направлении передовой европейской теории. Идеиная атмосфера Западной Европы, контакты с руководителями I Интернационала, прежде всего с Марксом, делали, по-видимому, реальной возможность раздвинуть горизонты русского революционного мирозерцания. Однако члены Русской секции, за исключением некоторых частных, не двинулись вперед по сравнению с Чернышевским.

Пытаясь применить теорию и тактику Интернационала к русским условиям, они правильно ухватывали ту истину, что передовые страны указывают отставшим кое-что существенное из их будущего. В этом отношении они следовали за Чернышевским, изучавшим менее развитый исторический объект — социальные отношения России — с точки зрения более развитых условий и форм исторического движения западноевропейского общества.

Однако как это делалось последователями Чернышевского? Так, что отсталые общественные условия России изображались по образу и подобию развитых капиталистических стран. Русские революционеры ищут и находят общие принципы развития революционного движения Западной Европы и России. Например, в статье «Русское социально-

революционное дело в его соотношении с рабочим движением на Западе», напечатанной в органе секции «Народное дело», обосновывается необходимость перенесения всего передового из опыта Западной Европы в условия российской действительности. Далее со ссылкой на Чернышевского автор статьи доказывает «применимость к нашему народному быту» западноевропейских революционных теорий. «Как теперь на Западе, — утверждает он, — поставлен на очередь передовым существенным вопросом вопрос о *земле, без которой* немислима воля, так этот вопрос ставился и у нас в России в 60-х годах и ставится и теперь партией Народного Освобождения... Вопрос о земле, о владении народа ею, и о владении на социалистических, общинных началах, — это есть тот коренной существенный вопрос всемирного пролетариата, из-за которого он пойдет с неутомимую энергиею на долгую и, если нужно, на крайнюю, беспощадную борьбу со всеми вещественными и личными препятствиями»⁴².

Слово «пролетариат» — это не оговорка автора. Как и Чернышевский, члены Русской секции не проводили принципиальной грани между рабочим классом и крестьянством. Вспомним, что и Берви-Флеровский толковал о «рабочем классе», «рабочем сословии» в России, разумея под ними трудящиеся массы страны.

«Народное дело» считало, что основные стремления русских и европейских пролетариев одинаковы, так же как и пути их осуществления. Экономическое положение русских трудящихся и рабочего класса Западной Европы тоже одинаково: удел тех и других — голод и нищета. Вот почему и здесь и там протест против существующего исходит со стороны народных масс, а не образованного общества. Правда, своеобразии неразвитых социальных условий России создавало определенные теоретические трудности для народоделовцев, но они преодолевали их, стараясь не отступать от принципов и идей Интернационала. Отмечалось, например, что русский «пролетариат» менее развит, менее культурен, чем западноевропейский, сумевший создать свою рабочую ин-

теллигенцию. Поэтому условия для начала революции на Западе более благоприятны, чем в России, зато в последней, полагали народодельцы, успешней будут внедряться в жизнь социалистические начала.

В самое трудное положение «Народное дело» попадало тогда, когда членам его редакции приходилось, сообразуясь с общим духом своего направления, доказывать применимость в условиях крестьянской России тактических принципов и форм борьбы западноевропейского рабочего движения — слишком уж отличались условия русского революционного движения от обстановки на Западе. Однако и в данном случае теоретики-эмигранты не отступали: ставя знак равенства между забастовками рабочих на Западе и «неповиновением» крестьян властям в России, они призывали к развертыванию пропагандистской и организационной работы в деревне. Стачка на Невской бумагопрядильной фабрике вызвала у народодельцев большие надежды в отношении возможностей пропаганды среди городских рабочих.

Так, оставаясь на почве концепции Чернышевского, члены Русской секции, стремившиеся применить передовой опыт и революционную теорию Запада к условиям своей страны, вынуждены были «подтягивать» русские условия к обстановке западноевропейского рабочего движения, т.е. по существу фальсифицировать, хотя и ненамеренно, картину действительности.

Среди революционеров, действовавших в самой России, схемы членов Русской секции вызвали резкую оппозицию. Косвенно о существовании такой оппозиции взглядам членов Русской секции свидетельствует содержание статьи «Интернациональная ассоциация и Россия», в которой автор-народоделец в очень неслестных тонах рисует противников перенесения тактических схем Интернационала в Россию как людей, опаасающихся гнева правительства. Однако это обвинение вряд ли было справедливым. Просто-напросто революционеры, действовавшие в России, понимали, по-видимому, гораздо яснее, чем члены Русской секции, всю

несостоятельность их тактических рекомендаций. И чем резче члены Русской секции настаивали во имя «правильной» доктрины на ложной, не соответствующей конкретным условиям тактике, тем больше они теряли влияние в среде русских революционеров.

Влияние западноевропейского социализма, его практических установок и идеологии прослеживается и на политической доктрине Лаврова — главы пропагандистского направления в русском народничестве. Как и для членов Русской секции, «социальный вопрос» для Лаврова не имеет ясно очерченных исторических границ. Содержание его, согласно Лаврову, независимо от степени экономического развития той или иной страны, сводится к «борьбе с легально-промышленным строем настоящего в пользу рабочего...»⁴³. Правда, Лавров уже понимает, что «русский сельский работник должен идти к перестройке русского общества путем иной организации, чем фабричный работник Запада...»⁴⁴. Но это различие является у него различием пути, а не цели. Цель революционной борьбы в России та же самая, что и у рабочего движения Западной Европы, — завоевание условий для полного господства «рабочих» в новом общественном строе. Как и в Западной Европе, «вопрос политический» в России подчинен «вопросу социальному» и «в особенности экономическому».

В редакционной статье первого номера «Вперед!» (август 1873 г.) Лавров двойствен в своей оценке течений, борющихся в I Интернационале. Для него марксизм и бакунизм — правомерные оттенки социализма, борьба которых уясняет спорные вопросы; каждое из течений право в одном отношении и ошибается в другом. Позиция Лаврова — критика односторонности всех платформ и сотрудничество со всеми направлениями в борьбе против общего врага. В этом смысле он стоит позади членов Русской секции Интернационала, поддержавших Маркса и Энгельса в их борьбе с бакунистами. Впоследствии (см. его работу «Государственный элемент в будущем обществе») у Лаврова произойдет

существенное изменение взглядов на анархизм. Он выскажется за необходимость диктатуры большинства, признает роль государства в строительстве социалистического общества, увидит в Парижской коммуне образец нового государства. Но все это будет позже. В 1873 г. Лавров еще отдает определенную дань анархизму, усматривая «политический прогресс человечества» в «увеличении автономного начала в мелких группах коммун и свободных союзов за счет централизационного начала современных легальных государств...»⁴⁵.

Какие же средства рекомендовали Лавров и его журнал «Вперед!» русской революционной партии? Прежде всего пропаганду социализма.

Обязанность сознательного революционного меньшинства, по Лаврову, состоит в том, чтобы разъяснить народу его «истинные потребности», «наилучшие средства удовлетворения этих потребностей». Никакого навязывания народу своих целей, никакого использования удачного стечения обстоятельств для захвата власти, но прежде всего и единственно деятельность, направленная к тому, чтобы «вызвать в народе сознательную постановку целей, сознательное стремление к этим целям».

«...Перестройка русского общества должна быть совершена не только с *целью* народного блага, не только для народа, но и посредством народа»⁴⁶, — повторяет Лавров основной лозунг Интернационала. Однако, примененный к русским условиям, этот лозунг, по крайней мере на первом этапе осуществления народной революции, означал нечто совершенно другое, весьма далекое от первоначального смысла. В обстановке отсутствия самостоятельного революционного движения масс идея революции «посредством народа» соединялась в сознании Лаврова с верой во всемогущество революционного меньшинства, в его способность посредством предварительной пропаганды придать будущему перевороту социалистический характер. Знакомый с марксизмом и историей революционного движения, Лавров настаивает

на том, что революции «искусственно» вызвать нельзя, что они не «продукты личной воли», а результаты «целого ряда сложных исторических процессов». Не революционеры, а ход событий укажет «минуту переворота» и «готовность к нему народа русского». Революции происходят фатально, доказывает Лавров, весь ход исторических дел подготавливает общественное потрясение. Однако социалистический характер революции тем не менее зависит от интеллигенции, ее усилий и настойчивости. Пока революционеры посредством пропаганды не сумеют повлиять на сознание народа, не сумеют помочь ему уяснить истинные цели и средства, до тех пор революционные попытки будут ставить у власти «кружки и партии, враждебные истинной народной программе».

Как никто другой Лавров понимал трудности работы в народе. «Нигде положение цивилизованного класса не так трудно при народном движении, как в нашем отечестве, — писал он, — где разделение между классами определено не только большим или меньшим богатством личностей, но всеми подробностями культурного быта, всеми частностями жизненной обстановки, целою группою ежедневных привычек, которые прежде всего бросаются в глаза, от которых всего труднее отделаться и которые всего более мешают сблизиться людям, ставящим обществу один и тот же идеал в будущем. Проклятое предание старого барства и чиновничества тяготеет на всяком, кто живет жизнью цивилизованного класса в России: оно внушает народу недоверие к его словам, к его действиям, и много личных усилий необходимо для того, чтобы уничтожить это недоверие, чтобы народ признал *своим* того, кто отделен от него мелочами культурных привычек»⁴⁷. Отсюда Лавров делал вывод о необходимости для революционера усиленной личной подготовительной работы, умственного и нравственного самовоспитания, прежде чем он окажется в состоянии работать среди народа. Опыт «хождения в народ» «Земли и воли» показал, насколько прав был Лавров, предупреждая революционеров о трудностях работы среди крестьянства. Правда, тот же опыт по-

казал, что рекомендуемые Лавровым средства для преодоления пропасти между социалистической интеллигенцией и массой крестьянства недостаточны, утопичны. Только появление среди трудящихся классов промышленного пролетариата впервые давало возможность социалистической партии поставить вопрос о реальной связи с крестьянской массой, с миллионами пролетариев и полупролетариев деревни.

В отличие от Русской секции Интернационала направление Лаврова сумело добиться определенного влияния в русских революционных кругах. Его программа в большей мере отвечала взглядам и настроениям русской молодежи. Его призыв готовиться к решительной минуте и готовить к ней русский народ воспринимался революционерами как напоминание о серьезности задач предстоящего социального переворота. И все же пропагандистское крыло скорее умеряло, чем нейтрализовало влияние бакунинской тенденции. Русская революционная молодежь в большинстве своем не хотела больше ждать: отсрочка «настоящего дела», решительной борьбы с самодержавием бросала ее в объятия бунтарства.

Несколько особняком в первой половине 70-х гг. стоит направление П. Н. Ткачева, резко отличающееся и от бунтарей, и от «пропагандистов». Ткачев-политик по преимуществу человек действия, призывавший к непосредственному вмешательству революционной партии в ход событий. Практический подход к социализму и революции порождает у него своеобразный тип мышления, логически более элементарный, чем бакунинский, но более адекватно отражавший сложившуюся обстановку в России и ближайшие задачи революционного движения.

Как и большинство народников 70-х гг., Ткачев знаком с марксизмом и разделяет ряд его положений. Вслед за Марксом он доказывает, что экономические отношения «дают, так сказать, тон и направление всей социальной жизни общества». Право, философия, литература, религия, утверждает Ткачев, не могут быть правильно поняты «отдельно от жизни социальной», которая в свою очередь есть не что иное,

как «продукт известных экономических принципов». Однако признание Ткачевым отдельных положений теории Маркса вовсе не означало, что ему удалось преодолеть идеалистическое понимание истории. Как и все народники, Ткачев не в состоянии понять революционно-преобразующую деятельность масс в качестве необходимого момента, одной из тенденций самой действительности. Источник революционного преобразования существующего коренится для Ткачева не в противоречиях общественной практики, а в активной воле отдельных личностей.

Ткачев принадлежал к числу тех немногих народнических теоретиков, кто уже в начале 70-х гг. констатировал факт развития России в направлении капитализма. Правда, на этом пути, доказывал он, сделаны еще первые шаги, однако «экономический прогресс» уже породил силы — «класс кулаков» в деревне и класс буржуазии в городе, — консолидация которых поставит под сомнение социалистическую перспективу России. Поэтому фактор времени в концепции Ткачева играл первостепенную роль. «Теперь или очень не скоро, быть может, никогда!» — ставит вопрос Ткачев перед революционерами.

Предварительным условием социальной революции в России и главной задачей момента являлось, по Ткачеву, объединение сознательных элементов переворота в конспиративную централистскую партию. Организация такой партии, ее твердые и решительные действия против старой власти не только восполнят нехватку революционной инициативы в народе, но и подвинут интеллигентное меньшинство к практической революционной деятельности. Используя такие формы борьбы, как заговор, дезорганизация государственного механизма и т.п., партия, по мысли Ткачева, вызовет к жизни дремлющий в народе революционный, коммунистический дух, превратит крестьянство из возможной революционной силы в действительную. Неодолимость старой власти можно поколебать в глазах крестьянина не словесной пропагандой, а только решительным ниспровержением ее. Когда народ увидит, пишет Ткачев, что

«та грозная власть, перед которой он привык трепетать и пресмыкаться, в несокрушимую силу которой он привык верить, — что эта грозная власть поругана, расстроена, дезорганизована, бессильна, — о, тогда ему нечего и некого будет бояться, и его скрытое недовольство, его подавленное озлобление с неудержимую силою вырвется наружу»⁴⁸.

Не революционное просвещение народа должно предшествовать революции, говорил Ткачев, а революция должна предшествовать просвещению. Сам, своими силами народ никогда не в состоянии подняться на революцию, потому что отношения эксплуатации и угнетения, порождающие невежество, апатию, приниженность массы, а также мощный аппарат насилия, обрекают народ на беспомощность перед господствующими классами. Народ может стать фактором революции лишь после того, как революционное меньшинство захватит власть и овладеет средствами государственной власти. Опираясь на «разрушительно-революционную силу» народа, социалистическое меньшинство сможет парализовать сопротивление врагов и проложит дорогу социальной революции.

В противоположность Бакунину Ткачев не верит в способность русского крестьянства самостоятельно, без помощи извне, переустроить общественную жизнь на социалистических началах. Народ, по его мнению, не в состоянии построить новое общество, которое было бы способно прогрессировать в направлении коммунистического идеала. Поэтому социалистическое меньшинство не имеет права и после революции отказаться от власти. Для переустройства жизни на коммунистических началах понадобятся меры принуждения, т.е. государство. Опираясь на мощь государства, революционное меньшинство вносит в народную жизнь «новые прогрессивно-коммунистические элементы», «сдвигает эту жизнь с ее вековых устоев». Ткачев отдает себе отчет в трудностях, ожидающих революционное меньшинство на этом пути, тем более что активная поддержка народом реформаторской деятельности представляется ему весьма проблематичной. Но он

верит, что при соответствующем такте по отношению к массе социалистический авангард способен выполнить задачу — создать общество без эксплуатации и угнетения.

Направление Ткачева не получило распространения в 70-х гг. XIX века. С одной стороны, оно слишком контрастировало с господствующим направлением анархического бунтарства, с другой — нечаевское дело приучило революционеров с подозрением относиться ко всяким поползновениям к «генеральству». От Ткачева отталкивало также и его трезвое, без сантиментов отношение к крестьянству, которое казалось большинству неверием в народные силы. Только длительный опыт неудач, разочарований заставит революционеров признать необходимость политической борьбы и централизованной организации. Но это будет позже, в период формирования народовольчества. В середине же 70-х гг. имя Ткачева и его журнал «Набат» не пользуются особой популярностью среди революционеров.

Существует прочная связь между отрицанием значения борьбы за свободу и слабостью, неразвитостью революционного движения, своего рода замкнутый круг отсталости. Пока движение не убедилось на соответствующем практическом опыте в необходимости борьбы за политическое освобождение, до тех пор любая теория, какой бы верной она ни была, оказывается не в состоянии сдвинуть дело с мертвой точки. Сколько бы ни доказывали члены Русской секции Интернационала превосходство политических идей и тактики западноевропейского рабочего движения над анархизмом и бакунистским вспышкопускательством, какие бы аргументы в пользу своих правильных положений они ни приводили, их деятельность не смогла повлиять сколько-нибудь заметно на формирование тактических установок в русском революционном движении*. В последнем почти

* Отсюда не следует, что им не надо было браться за критику. Пропаганда правильных взглядов не пропадает даром даже тогда, когда, по выражению Ленина, «целые десятилетия отделяют посев от жатвы».

безраздельно господствовала идеология анархического бунтарства, умеряемая некоторыми идеями Лаврова. Жертвы и борьба не пропали даром для русского освободительного движения. Период 70 — начала 80-х гг. стал для социалистов-народников периодом исследования и проверки революционных концепций и методов. Десятилетие практической борьбы в разных ее формах — от анархизма до бланкизма — дало для понимания объективных условий русской революции неизмеримо больше, чем предшествующий период, в течение которого программу приходилось создавать чисто теоретическим путем. Опыт показал народникам, что в России любая политическая программа не может считаться революционной, пока она не формулирует точно и ясно ответ на вопрос, как ниспровергнуть власть царского самодержавия — оплота отсталости и азиатчины страны.

Поскольку народовольцы своей практикой и борьбой поставили этот вопрос перед русским революционным движением, постольку они сделали важный шаг вперед в определении реальных нужд освободительной борьбы.

Поворот народовольцев к политической борьбе создал решающий стимул для нового умственного движения. Чтобы оставаться социалистом, надо было заново осознать связь между социализмом и политической борьбой, которые отделились и разъединились в ходе практической борьбы и рассматривались в этой изоляции. Надо было возродить целостную концепцию социализма и тем самым перекинуть мост между теорией и практикой. Новая доктрина, не упуская из виду конечную цель освободительной борьбы, должна была наметить ряд переходных этапов, которые русским революционерам предстояло пройти, прежде чем в стране создадутся условия для массового социалистического движения.

Как отмечал Плеханов, борьба за политическое освобождение представлялась большинству революционеров «каким-то вынужденным компромиссом, временным торжеством «практики» над «теорией», насмешкой жизни над бессили-

ем мысли. Сами «политики», оправдываясь от сыпавшихся на них упреков, избегали всякой апелляции к основным положениям социализма, а ссылались опять на неотразимые требования действительности. В глубине души они и сами, по-видимому, верили, что им не совсем к лицу политические тенденции, но утешали себя тем соображением, что только в свободном государстве они могут предоставить мертвым хоронить своих мертвецов и, покончивши всякие счета с политикой, всецело посвятить себя делу социализма»⁴⁹. Поскольку же идеологи «Народной воли» пытались теоретически обосновать свою точку зрения на соотношение социализма и политической борьбы, постольку они повторяли с некоторыми видоизменениями аргументы Ткачева. Заметить противоречие народофильской программы и народнического учения, факт несоответствия старой теории новой разворачивающейся практике могли только теоретически подкованные люди, более или менее знакомые с европейским социализмом. Большинство из них были членами «Черного передела».

Специфические качества Плеханова-мыслителя — стремление к последовательному развитию своих взглядов, умение двигаться против общего течения, теоретическая честность и т.п. — сыграли огромную роль в переходе его от народничества к марксизму. Среди революционеров, теоретическая совесть которых вполне удовлетворялась немногими эклектически соединенными положениями социализма, он оказался по существу первым, кто решился бросить вызов народничеству и показать полное банкротство его идей⁵⁰.

Поворот Плеханова к научному социализму можно объяснить (в рамках психологического анализа) личными качествами, обусловленными его характером, свойствами таланта, воспитанием и жизненным опытом. Но нам важно провести социологический анализ — выйти за пределы сферы индивидуального сознания и исследовать генезис проблем, которые привели мыслителя к марксизму. Даже самый пристальный интерес к проблемам общей теории не смог бы обнаружить несоответствие народнического мирозерца-

ния действительности, если бы развитие революционного движения не подорвало основ крестьянского социализма, а главное, не конкретизировало задачу новой теории как задачу соединения классовой и политической борьбы.

Следует сказать, что процесс разрушения старой бакунистской доктрины с неудержимой силой разворачивался в конце 70-х — начале 80-х гг. Не только идея воздержания от борьбы за политическое освобождение страны, а буквально все пункты народнического мирозерцания оказались в противоречии с процессами пореформенной действительности. Так народовольцы оказались вынужденными признать, вопреки старой бакунистской доктрине, что, несмотря на слабость русской буржуазии, она способна в недалеком будущем сложиться в серьезную экономическую и политическую силу. «...Еще несколько поколений — и мы увидим у себя настоящего буржуа; увидим хищничество, возведенное в принцип, с теоретической основой, с прочным мирозерцанием, с сословной нравственностью»⁵¹. Однако объяснение причин усиления влияния буржуазии оставалось вполне народническим: большинство народовольцев считали развитие буржуазии явлением неорганическим, чуждым основам русского экономического быта, результатом правительственной политики поощрения капитализма.

Все более отчетливо перед умственным взором народовольцев выступал и процесс расслоения крестьянства. И хотя большинство народников не признавали в кулацкой прослойке новой общественной силы, считая вслед за В.В. (В.П.Воронцовым), будто кулака возвышает «не хозяйство, а мироедство», озабоченность новыми процессами в деревне была огромной. Главное, что вызывало тревогу народников, — полная неспособность общины противостоять натиску «прижимки». «Общинный и артельный дух, — констатировала «Народная воля», — не помешал развиваться у нас эксплуатации, беспримерной по наглости и полноте»⁵². Правда, признавая этот факт, народовольцы объясняли его опять-таки политикой самодержавия, ограбившего деревню.

Таким образом, как бы правильно (эмпирически правильно) ни фиксировали народovolьцы положение дел в стране, теоретически они не могли подняться над горизонтом ограниченной доктрины. Это еще одно свидетельство того, что сами по себе факты, какими бы они ни были, не порождают поворота в сознании революционеров. Как и во всех случаях, когда речь идет о смене исходных методологических оснований, обобщение определенного, всегда конечного числа явлений и фактов, противоречащих принятой теории, не может привести к отказу от унаследованной системы идей. Потребность в новом миросозерцании имеет совсем другой характер, нежели простое сопоставление учения с действительностью. Ее источник коренится внутри самого революционного движения, в том опыте, который революционеры приобретают, в тех противоречиях, которые оно порождает в своем развитии. То, что непосредственно определило поворот группы «чернопередельцев» к марксизму, меньше всего имело своим источником исследование экономики России. Разрыв с народничеством предопределялся в первую очередь не запросами теории, а необходимостью сохранить социалистическую традицию в обстановке всеобщего разлада целей и деятельности революционного движения.

О происхождении кризиса действенного народничества говорилось выше. Сейчас мы хотели бы обратить внимание читателя на содержание понятия «кризис» применительно к развитию народнического движения в конце 70-х — начале 80-х гг. прошлого века. Этот кризис был связан не только с неудачей революционеров поднять темное, забитое крестьянство на социалистическую революцию, хотя неудача и способствовала вызреванию элементов кризисной ситуации. Еще меньше кризис народничества можно связывать с разгромом партии «Народная воля», последовавшим сразу же вслед за покушением на Александра II, — обессиленная арестами, потерявшая руководящую группу организация еще продолжала свою борьбу. Но никакой героизм рядовых членов «Народной воли» не мог вернуть народничеству то

единство теории и практики, программы и тактических установок, которое является условием существования революционной партии и которое было утрачено движением в ходе внутренней эволюции. Вот почему мы определяем «кризис народничества» как выявившуюся невозможность для русского революционного движения руководствоваться старыми принципами и программами и — одновременно — неспособность представителей новых тенденций осмыслить свою деятельность в адекватной системе взглядов, поскольку последняя неизбежно вступала в противоречие со всей старой идеологией социализма.

Характерно, что Плеханов в первой же своей марксистской работе «Социализм и политическая борьба» прямо указывает на кризисную ситуацию в народническом движении, связанную с перерастанием теории практикой, как на *непосредственную* причину возникновения потребности в более высоком миросозерцании. «...С появлением «Нар. Воли», — читаем мы там, — логическое развитие нашего революционного движения переходило уже в тот фазис, в котором оно не могло более удовлетворяться народническими теориями доброго старого, — т.е. чуждого политических интересов, — времени... Внося то или другое изменение в свою тактику, подвергая тем или другим переделкам свою программу, — продолжает Плеханов, — революционеры часто и не подозревают, какому серьезному испытанию подвергают они общепризнанные в их среде учения. Многие из них так и умирают в тюрьмах или на виселицах, вполне уверенные в том, что они действовали в духе именно тех учений, между тем как, в сущности, они были представителями новых тенденций, возникших на почве старых теорий, но уже переросших их и готовых найти новое теоретическое выражение. Так было и у нас с тех пор, как окрепло «народовольческое» направление»⁵³.

«Ход вещей» пришел в столкновение с «ходом идей». Однако «ход вещей» — это не просто объективное экономическое развитие страны по буржуазному пути, но прежде все-

го и главным образом революционная практика. Именно она выявила в форме антиномии «социализм» — «политическая борьба» противоречие народнического социализма потребностям освободительной борьбы в эпоху нарождавшегося в России капитализма.

Другое дело, что в такой резкой форме антиномия существовала не для всех. Пожалуй, только Плеханов со свойственным ему стремлением к целостности взглядов, логической завершенности доктрины, формулировал антиномию столь четко и бескомпромиссно. Однако даже те, кто, признавая политическую борьбу, избегали обращения к теории социализма, чувствовали, насколько довлеет над ними необходимость изменения существующих взглядов.

Революционная практика не только вызвала к жизни кризисную ситуацию в народническом движении, но и сделала ее разрешение необходимостью. Ибо противоречие между доктриной и тактикой революционеров появилось не случайно, не в результате допущенных ошибок или отклонения от правильного пути. Как мы пытались показать, сама логика борьбы за социализм вывела народников в сферу политики, благодаря которой со всей ясностью выявился основной порок исходной доктрины. То, что раньше выступало как различие точек зрения народнических публицистов, с возникновением народовольчества превращалось во внутреннее противоречие самого революционного движения. Своим героическим, но безнадежным единоборством с самодержавием «Народная воля» поставила проблему социализма и политической борьбы, так сказать, на лезвие ножа. Русские социалисты оказались перед решающим выбором: либо отказ от поддержки развернувшейся политической борьбы, либо отказ от теории, в которой «политике» не находилось места.

ГЛАВА IV

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА ДЕМОКРАТИЗМА

В данной главе, думается, нет смысла рассматривать историю социал-демократии в России, образование РСДРП (1903), раскол на большевиков и меньшевиков, различие их политической тактики в ходе трех русских революций. В формате заявленной темы нас будет интересовать главным образом отношение русских социал-демократов к идее демократии и демократическим ценностям. Но вначале продолжим сюжет, связанный с преодолением народничества и появлением марксизма в России.

Существование марксизма, непосредственное знакомство с западноевропейским рабочим движением, с идейной борьбой различных течений социализма существенно облегчали задачу Плеханова: они указывали, где и как искать ответ на «проклятые вопросы» русского революционного движения. Однако трудности, вставшие перед Плехановым, не следует преуменьшать — речь шла не просто о признании марксизма как теоретической доктрины, но о применении теории Маркса к анализу русской действительности, к проблемам русского освободительного движения. Нужно было объяснить посредством социалистической теории особенности объективного положения дел в России, выработать революционную концепцию и методы борьбы, по существу новые, несмотря на их видимое сходство с опытом освободительного движения в других странах. Нужно было на основе критического анализа определить исходную точку русской революции, доказав, что борьба за политическое осво-

бождение России способна при определенных условиях (политическое воспитание пролетариата) стать прологом социалистической революции. Наконец, предстояло дать четкий и определенный ответ, как ниспровергнуть власть самодержавия. Словом, проблем было много, и надо удивляться не тому, что Плеханов не решил их все, а тому, что он все-таки сумел обрисовать позицию, на основе которой можно было двигаться дальше, вырабатывать конкретную программу и тактику.

В работах «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» картина классовых отношений русского общества рисуется крупными мазками, без проработки отдельных деталей. Такие существенные проблемы, как выяснение роли буржуазии в русской буржуазно-демократической революции, создание социал-демократической партии, проблема политического воспитания пролетариата в ходе революционной борьбы, исследование сути аграрного вопроса в России и отношение пролетариата к крестьянским массам, — все эти актуальные для русской революции вопросы оставались в общем и целом в 80-х гг. за пределами теоретических обобщений Плеханова. Связь борьбы социалистического пролетариата с судьбами других классов не доказывается в подробностях; она скорее постулируется Плехановым как естественная и само собой разумеющаяся предпосылка.

Разрывая с народничеством, Плеханов ни в малейшей степени не склоняется к сектантству. Под углом зрения развития классовой самостоятельности пролетариата он рассматривает все вопросы предстоящей русской революции. Он уверен в том, что *«возможно более скорое образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России»*⁵⁴. Никакой догматической боязни экономической и культурной отсталости страны, ограничения революционных задач пролетариата ввиду этой отсталости. Движение России по капиталистическому пути есть непреложный факт, отрицать который бессмысленно и реакционно, — страна уже ступи-

ла «на след естественного своего развития». Однако это движение, доказывает Плеханов, не предопределено фатально, оно может быть более мучительным или менее мучительным для народа «в зависимости от комбинации всех общественных и международных отношений данной страны». Причем пролетариат, в котором сосредоточиваются все революционные интересы современного общества, согласно Плеханову, в состоянии решающим образом повлиять на эту комбинацию. Развитие капитализма не застало социалистическую партию врасплох; она оказалась стоящей на более высокой ступени развития, чем буржуазные партии. Если это преимущество не будет потеряно, если социалисты сумеют организовать широкую пропаганду в рабочей среде, то отпор буржуазии будет решительным и энергичным и капиталистическая фаза будет превзойдена в исторически короткие сроки. Но не только внутренние факторы — социалистическое просвещение и организация русского пролетариата, его классовая самостоятельность — определяют, по мнению Плеханова, более короткий, чем в европейских странах, срок существования капитализма в России. Историческая среда, в которой происходит развитие русского капитализма, также будет способствовать ускорению процесса. «Наш капитализм отцветет, — доказывает он, — не успевши *окончательно* расцвести, за это ручается нам могучее влияние международных отношений»⁵⁵.

В «Наших разногласиях» Плеханов не знает, как поведет себя русская буржуазия в предстоящей революции. Он ограничивается констатацией противоречия интересов русской буржуазии интересам абсолютизма, делая при этом многозначительное замечание насчет того, что буржуазия умеет извлекать пользу «из существующего режима» и «потому не только поддерживает некоторые его стороны, но и целиком стоит за него в известных своих слоях...»⁵⁶. Однако он не спешит с выводами, не желая по некоторым частным сторонам процесса заключать обо всем его направлении. По его мнению, русская буржуазия переживает сейчас

(т.е. в 80-х гг. XIX века) «важную метаморфозу: у нее развились легкие, которые требуют уже чистого воздуха политического самоуправления, но в то же время у нее не атрофировались еще и жабры, с помощью которых она продолжает дышать в мутной воде разлагающегося абсолютизма»⁵⁷.

В своих первых марксистских работах Плеханов еще не ставит вопроса, каким образом сознательный пролетариат сумеет принять участие в буржуазной революции, не таская из печи «каштаны политического освобождения» для буржуазии, — решение этой трудной задачи было впереди. Однако он уверен: в предстоящей революционной борьбе русский рабочий класс должен вести самостоятельную политическую линию. «Наше «общество» лишено такого (как в Западной Европе. — *И.П.*) влияния на рабочий класс, и социалистам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. Они должны указать рабочим их собственное, рабочее знамя...»⁵⁸.

Даже темное, политически неподвижное крестьянство — факт, с которым столкнулось и о который разбилось революционное народничество, — не пугает Плеханова; он уверен, что промышленные рабочие способны сыграть решающую роль в политическом развитии крестьянства. В крестьянской стране марксист Плеханов вовсе не думает игнорировать мужика. Напротив, выдвигая на первый план задачу политического просвещения рабочего класса, он тем самым надеется отыскать более действенные способы влияния революционной партии на сельское население. Не социалистическая интеллигенция сама по себе, а прежде всего сознательный рабочий способен обеспечить влияние революционных идей на народ. «Ни по привычкам мысли, ни по способности к физическому труду наша революционная интеллигенция не имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный рабочий и в этом случае составляет середину между крестьянином и «студентом». Он должен, поэтому, послужить связующим звеном между нами»⁵⁹. Интеллигенция должна начать свое революционное слияние с народом не с крестьянства, а с пролетариата, но именно начать, при

ступая по мере развития и укрепления рабочего движения к систематической революционной работе в крестьянстве. Таким образом, программа марксистов в России, как ее формулирует Плеханов в 80-х гг., не жертвует деревней в интересах города, не игнорирует роли крестьянства. Она, по мысли Плеханова, *«ставит своей задачей организацию социально-революционных сил города для вовлечения деревни в русло всемирно-исторического движения»*⁶⁰.

Плеханов и его группа «Освобождение труда» завершают первый этап развития российского демократизма. Отныне с романтической фигурой заговорщика и «бомбиста» в России было покончено. В конце XIX — начале XX веков марксизм получает полное и безоговорочное признание в кругах социалистической интеллигенции. Учение Маркса представлялось ей новым, целостным видением мира и России, особой философией социалистического движения. Марксизм ясно видел прошлое и настоящее, более того, он был в состоянии, благодаря знанию законов капиталистического общества, осознанно ускорить наступление новой эпохи⁶¹. Его торжество объяснялось не только тем, что он стал альтернативой народничеству, но и благодаря той уверенности, которую ему удалось внушить своим адептам, что их вера рациональна, практична и соответствует направлению развития страны. А еще — и это следует особо подчеркнуть — марксистские каноны тактики и пропаганды оптимальным образом отвечали неотложной задаче революционеров — создать новый, пролетарски-социалистический авангард, дать ему сознание своей способности и права разбудить «великого спящего» — рабочий класс России.

Однако, как отмечал Ленин, «...в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции»⁶². А это означало: российским социал-демократам еще только *пред-*

стояло соединить социалистическое учение и тактику с массовым рабочим движением, которое неуклонно набирало силу с конца 90-х гг.

Во всей Европе, исключая Великобританию, где социал-демократическое направление сформировалось как политическое выражение тред-юнионов, партии марксистского толка встречали сопротивление профсоюзного движения. Противоречие между конечной программой социалистов и конкретными, в большинстве своем узко экономическими требованиями профсоюзов разрешалось по-разному: иногда в пользу социалистических партий, иногда в пользу профсоюзного движения. Но везде социалисты, чтобы не потерять поддержку рабочих, оказались вынужденными заняться «малыми делами» в пользу частных (по социалистическим меркам) требований рабочих организаций. Выбора у европейских социал-демократов не было: либо двигаться вместе с массовым рабочим движением, жертвуя важными марксистскими формулами, либо превратиться в социалистическую секту, находящуюся в ожидании конечного кризиса.

В России дело обстояло иным образом. Благодаря стовору заводчиков и полиции, шире, политике самодержавия возможность постепенного преобразования отношений капитала и труда, переговоров, компромиссов фабрикантов и рабочих, т.е. демократических методов разрешения конфликтов, была практически закрыта. Забастовки, стачки рабочих, требовавших скромных улучшений, подавлялись полицией, заканчивались столкновениями, арестами «зачинщиков», а затем тюрьмой или ссылкой. В этих условиях рабочие вынуждены были принять руководство со стороны социал-демократов, людей деятельных, практичных, решительных и, главное, указывавших перспективу борьбы. В результате конкретные и неотложные цели, такие как повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и т.п., приобретали *политический* характер, т.е. связывались с требованием свержения самодержавия, введением избирательного права, ликвидацией полицейских мер «раз-

руливания» экономических конфликтов. Идея насильственного переворота, уничтожения всех старых властей превратилась в России в главный ориентир борьбы. Идеи классовой борьбы и самоосвобождения пролетариата стали шаг за шагом благодаря деятельности социалистов проникать в толщу пролетариата. Словом, на место маленького клана революционеров, готовивших по народовольческим рецептам «социальную революцию», пришли многочисленные социал-демократические кружки, работавшие в среде пролетариата. Именно они составили костяк РСДРП, хотя партия и оказалась сразу же расколотой на большевиков и меньшевиков.

Так или иначе, накануне 1905–1907 гг. русские социал-демократы были одним из влиятельных течений общедемократического освободительного движения против самодержавия. Они были демократами, поскольку просвещали рабочий класс относительно способов действия и насущных политических целей борьбы. Их демократизм выражался в организации политических выступлений рабочих, в их стремлении превратить пролетариат в авангард демократического натиска на самодержавный режим, на всю старую власть. Наконец, драматическому и пессимистическому видению политических перспектив они противопоставили оптимистическую, конструктивную альтернативу *народной* — во главе с рабочим классом — революции.

Но дальше единство российских социал-демократов заканчивалось. Причем непримиримые разногласия касались первоначально не истолкования социалистической доктрины Маркса, не проблем отношения к демократии, а прежде всего и главным образом вопросов политической тактики социал-демократии. С кем идти в революцию? С либералами и «городской демократией» — наиболее продвинутыми элементами, заинтересованными в преобразованиях политического строя страны, или с десятками миллионов крестьян, политически отсталых, неразвитых, но способных смести с лица земли весь старый помещичье-самодержавный мир? Поскольку предстоящая революция носила буржуаз-

ный характер, то должен ли социалистический пролетариат отнестись к ней как к «своей», т.е. активно участвовать в ней, а при благоприятных условиях не побояться войти в революционно-демократическое правительство? Или его тактика должна быть более осторожной — подталкивать либеральную буржуазию к более решительным действиям против самодержавия, срывать ее возможные — об этом свидетельствовал опыт европейских революций — соглашения со старым режимом? Наконец, последнее, наиболее важное в нашем контексте. Какой группировке сил соответствует демократизм в России? Предполагает ли демократический строй альянс (разумеется, временный) рабочего класса и либерально-демократических элементов города, или его условием будет блок пролетариата и крестьянства под руководством пролетариата?

Так по-новому, более конкретно политическая история России поставила проблему демократии, точнее — демократического действия.

Повторим. Что касается общих марксистских постулатов относительно демократии, то тут споров, по крайней мере в годы первой русской революции, не существовало.

Для самого Маркса фундаментальная проблема демократии — свободный политический выбор народа — практически не существовала: он был уверен, что освобождение пролетариата явится исходным пунктом политического и всякого иного освобождения всего общества. Государство, политика в условиях социализма постепенно будут исчезать: рациональное управление вещами вытеснит управление людьми. Освобожденные от духовного и политического рабства капитализма люди будут строить свою жизнь на началах свободы и солидарности. Короче, демократия переносилась на завтрашний день социальных перемен: действуя под давлением экономических нужд, люди, как казалось, сами придут к использованию демократических правил и форм. Разумеется, Маркс понимал, что изменения в обществе произойдут не сразу. «Нынешнее поколение, — писал он, — напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пу-

стыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира»⁶³. Только в конце 80-х — начале 90-х гг. XIX века Энгельс придет к признанию демократических процедур (всеобщее избирательное право) в качестве *средства* — одного из средств — социалистического переворота в Германии. Общая же позиция «научного социализма» в отношении демократии формулировалась следующим образом: отмените капиталистическую монополию на средства производства, уничтожьте существующую систему социально-экономических отношений и вы увидите, как возникнет новое поколение людей, для которых свобода и свободный выбор будут естественным образом жизни, эфиром, пронизывающим всю деятельность нового общества.

Поскольку исторической задачей Плеханова и его друзей по группе «Освобождение труда» было внедрение марксизма в русское революционное движение, постольку проблема демократического характера социалистических преобразований не вставала перед пионерами русского марксизма. Пролетариат, самый низший и самый угнетенный класс общества (по Марксу), привносил в русское освободительное движение новый элемент — решимость сражаться с самодержавием, моральное обновление борьбы. Так или примерно так были встречены обществом первые марксистские работы Плеханова и оживление рабочего движения в 90-х гг. XIX века.

Но проблема демократии, поставленная на пролетарскую основу, очень скоро обнаружила свой специфически *классовый* характер, сначала в смысле понимания марксистами сути демократии, а затем и в соответствующей политической тактике социал-демократов.

В чем же заключалась позиция русских социал-демократов перед лицом демократических преобразований?

Об этом впервые сказал Плеханов на II съезде РСДРП. Когда делегат съезда В.Е.Посадовский заявил, что принципы демократии нужно подчинить «выгодам нашей партии»,

Плеханов, не обращая внимания на протесты ряда делегатов, решительно присоединился к его (Посадовского) позиции. Вот его слова: «**Плеханов:** Вполне присоединяюсь к словам т. Посадовского. Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к принципу, который должен быть назван основным принципом демократии, именно принципу, гласящему, что *salus populi suprema lex* (благо народа — высший закон — **И.П.**). В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или иного демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежащих к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, подобно тому как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила *salus revolutionis suprema lex* (благо революции — высший закон — **И.П.**). И на эту же точку зрения мы должны были бы встать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода *chambre intronvabli* (незаменимую палату — **И.П.**), то нам следовало бы сделать его **долгим парламентом**, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели»⁶⁴.

После Октябрьского переворота он поймет, что временные меры по ограничению демократии — особенно в условиях России — легко превращаются в политический курс, повседневную практику партии, овладевшей государственной властью. Но это произойдет слишком поздно...

Первое, что бросается в глаза в рассуждении Плеханова об отношении социал-демократов к демократии (в данном случае — результатам всеобщих выборов), — это утверждение: между «прогрессом», отождествляемым с движением пролетариата, и всеобщим голосованием может существовать конфликт. Во имя «прогресса» он должен быть разрешен в пользу интересов революционного пролетариата, как это сделал, например, революционный Париж в 1871 г., восстав против Национального собрания в Версале, избранного всеобщим голосованием. И хотя утверждение Плеханова носит абстрактно-теоретический характер, не учитывает условий места и времени, оно вполне передает позицию марксизма по отношению к всеобщему голосованию: пролетарская власть — она же диктатура пролетариата — как высшая форма демократии не нуждается в одобрении своих действий населением страны.

На самом съезде Ленин всецело поддержал Плеханова. А несколько позже (в 1905 г.) он разовьет это положение в форме рассуждений о диктатуре «революционного народа». Почему, спрашивал Ленин, мы говорим о диктатуре революционного народа, а не всего народа? «Потому, что во всем народе, страдающем постоянно и самым жестоким образом..., есть люди, забитые физически, запуганные, люди забитые нравственно, например, теорией о непротавлении злу насилием, или просто забитые не теорией, а предрассудком, обычаем, рутиной, люди равнодушные, то, что называется обыватели, мещане, которые более способны отстраниться от острой борьбы, пройти мимо или даже спрятаться (как бы тут, в драке-то, не влетело!). Вот почему диктатуру осуществляет не весь народ, а только революционный народ, несколько не боящийся, однако, всего народа, открывающий

всему народу причины своих действий и все подробности их, привлекающий охотно *весь* народ к участию не только в «управлении» государством, но и во власти, и к участию в самом устройстве государства»⁶⁵.

Я специально привожу специфически *теоретические* суждения русских марксистов относительно демократии. Оставаясь на почве теории, легче увидеть, как социал-демократия в России пыталась развязать узел, завязанный народнической демократией, революционерами допролетарской поры. В отличие от народников социал-демократы уже не идеализируют весь народ. Они уже понимают, что по отношению к демократии нельзя стоять на общенациональной почве. Их точка зрения — классовая, пролетарская. Не весь народ, а прежде всего пролетариат, носитель социалистической идеи, способен по условиям своей жизни, по месту в общественном производстве возвыситься до подлинно революционной борьбы, сначала — до борьбы за свержение самодержавия, социальное обновление, а затем — до борьбы за социалистическое переустройство общества. Как говорил Плеханов, революционное движение в России против самодержавия может восторжествовать только как движение рабочих, другого выбора ему не дано.

С приближением революции, превращением русской социал-демократии в политическую силу появилась, а вернее была актуализирована, проблема соотношения социализма и демократии. С одной стороны, она оказалась связанной с осмыслением роли крестьянского вопроса в экономическом и социально-политическом развитии страны, с другой — с позиционированием социал-демократии в отношении к либеральному крылу освободительного движения.

Для последователей Маркса приоритет интересов социалистического пролетариата задавался, собственно говоря, самой доктриной: все классы и движения должны рассматриваться социал-демократами с точки зрения перспектив борьбы рабочего класса — главного двигателя революции в условиях капитализма. Разумеется, все русские социал-де-

мократы понимали, что пролетариату в одиночку не свалить самодержавие. «Соло пролетариата» в буржуазно-демократической революции, которая назревала в России, должно быть поддержано «крестьянским хором», — шире — борьбой всех оппозиционных царизму сил. В этом смысле свержение самодержавия и установление демократической республики были, казалось, общей задачей всего освободительного движения: буржуазно-либерального, крестьянского, пролетарски-социалистического.

Но проблема демократии в России в этом пункте не заканчивалась, а только начиналась. Перевод задач, решенных в свое время Европой и Северной Америкой, на более высокую социальную почву, изменившаяся группировка политических сил, наконец, глубина предстоящего переворота, затрагивавшего огромную сферу отношений собственности, — все это заставляло социал-демократов, большевиков в первую очередь, заново и по-новому поставить вопрос о демократизме в России. Решающий момент новизны — передвижка сил внутри демократической коалиции справа налево, которая неизбежно возникала в ходе всякой народной революции. Однако «справа налево» означало в России — в отличие от буржуазных революций в Европе — существенно новую роль социалистического пролетариата, толкающего революцию дальше приемлемого для либеральной буржуазии. То, что рассматривалось Плехановым и меньшевиками как промежуточное звено на пути от «чужой», буржуазной революции к «своей», социалистической, могло стать и стало (благодаря большевикам) чем-то неизмеримо бóльшим — «плебейской» расправой с остатками средневековья, решением аграрного вопроса — одного из главных условий социально-экономического прогресса страны.

Как справедливо подчеркивал М.Я.Гефтер, Плеханов «не был противником крестьянской войны за землю, он лишь против возведения ее в теоретический принцип. Ему, Плеханову, легче было признать террор полуазиатских мужиков, который в конечном счете (и только в конечном) — не сам

собой — приведет к замене мнимой петровской цивилизации «подлинной и всеобщей», чем поступиться ради этого текущего успеха (важного, но текущего) логическими ценностями марксизма»⁶⁶. Среди этих марксистских «ценностей» — постулат о необходимости *исчерпания* всех возможностей капиталистического прогресса, в том числе и норм буржуазной демократии. Как главный двигатель революции, включая и буржуазный переворот, пролетариат вправе, более того, должен заключить союз в борьбе за конституцию и модернизацию общества с либеральной буржуазией — носительницей буржуазно-демократических ценностей и институтов. Почему с либералами? Да потому, что они откровенно враждебны социализму и, придя к власти, скорее просветят пролетариат относительно своекорыстного характера буржуазных демократических институтов. В этом заключалась, согласно Плеханову, классовая, пролетарская точка зрения на демократию. Буржуазная демократия не цель, а средство для социал-демократии: исторически отживающие идеалы и учреждения пролетариат имеет право использовать для достижения его великой цели.

Подход Ленина был иной. Он не разделял иллюзий Плеханова и меньшевиков в отношении роли либералов в революции. Свобода политическая, республиканская может быть завоевана, по его мнению, не путем поддержки либералов, а путем «плебейской» (пролетарско-крестьянской) расправы со всеми средневековыми институтами и главным среди них — самодержавием. И в политическом, и в социальном отношении *другая* Россия может быть, согласно Ленину, результатом только народной революции, насилием масс, возглавляемых пролетариатом. Даже решая буржуазные задачи, революция коренным образом обновляет расклад политических сил: рабочий класс становится гегемоном освободительного движения, толкает его дальше приемлемого для либеральной буржуазии.

Характерно, что, в отличие от Плеханова с его упором на объективный ход вещей, Ленин выдвигает на первый план проблему революционного действия. Он понимает, что в

эпоху революции, когда все решает открытая борьба классов и партий, помноженная на страсть, ум, фантазию миллионов, «объективный» прогноз лишен всякого научного смысла. Будущее выступает перед ним не как запрограммированная схема, а как совокупность реальных альтернатив, реальных в том смысле, что каждая из них соответствует объективно возможному ходу развития, разумеется, в пределах вызревших исторических задач.

Пролетарский, точнее пролетарски-якобинский, переворот вполне укладывался в эту схему развития России. В условиях буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. он, по мысли Ленина, должен был привести к диктатуре рабочего класса и крестьянства (при гегемонии пролетариата). В 1917 г., после того, как буржуазное Временное правительство оказалось не в состоянии решить насущные проблемы жизни народа (мир, вопрос о земле), — на горизонте замаячила уже диктатура пролетариата. Другими словами, демократизм, по Ленину, заключался не в парламентских процедурах и всеобщем голосовании — отсюда разгон, без колебаний, Учредительного собрания, — а в способности социал-демократической партии повести за собой большинство народа, стремившегося к миру и уничтожению помещичьей собственности.

Раздвоение единого политико-ценностного пространства, о котором говорилось выше, дошло в 1917 г. до крайних пределов: партии, получившие большинство *благодаря всеобщим выборам* (эсеры, кадеты), не хотели решать, да еще немедленно, жизненно важные для большинства населения проблемы, силы же, *захватившие* государственную власть в результате переворота (большевики, левые эсеры), приступили к раздаче земли крестьянам и попытались заключить сепаратный мир с немцами (Брестский мир). Речь идет не об оправдании политики большевиков, особенно политики «военного коммунизма», — юридическая точка зрения мало что дает для понимания событий истории. Историческая наука ищет в прошлом не оценок самих по себе, а объясне-

ния. Проблема в другом. Она заключалась в *расколе* народа на две половины, противостоящие друг другу. «Барин» и «мужик», «белая кость» и «черная» оказались не в состоянии разрешить свой вековой антагонизм миром, без жестокой гражданской войны, в результате которой были сметены с политической арены «культурные классы». Если угодно, большевики совершили переворот в политических и социальных отношениях России, но совершили его *недемократическим, якобинским способом*. Итогом этого переворота стала пролетарски-плебейская диктатура, не нуждавшаяся в демократии, более того, открыто отрицавшая ее, даже в том зачаточном виде, в котором та присутствовала в октябре 1917 г.

Способ переворота оказался небезразличным к его содержанию: финалистскую безудержность революции не удалось обуздать.

В этом пункте мы подошли к сердцевине проблемы демократии в России, что делало ее проблемой в прошлом и делает сейчас. Демократия в России в представлении народа — это скорее не участие населения в государственной власти, а прежде всего — чаще всего исключительно — *экономическое* освобождение. Во всяком случае, благодаря народничеству, а затем большевизму русская демократия исходит из предпосылки социального равенства людей. Что касается политических свобод, то они ставятся в прямую зависимость от решения экономических (социальных) задач. На пути осознания приоритета политических преобразований перед русскими демократами стояли непреодолимые препятствия: фактическая монополия на власть огромного слоя бюрократии плюс элементы темноты, политической неразвитости населения.

Аморфное политическое сознание подавляющего большинства населения скрепляло этот специфический «конгломерат», возрождало его вопреки всем историческим потрясениям. Конкретная форма «сцепки» этих двух составляющих государственного тела России могла меняться (от самодержавного строя до президентской республики), но

централистское построение власти, бюрократический способ деятельности — сверху вниз — оставался неизменным. И здесь не в состоянии ничего поправить никакие экономические преобразования. Раскрепощение индивидов и целых социальных слоев, поскольку оно не задевало *отношений между народом и властью*, сразу же оборачивалось зависимостью от армии правительственных чиновников. В этом смысле радикальная революция в отношениях собственности, разразившаяся в России в начале XX века, равно как и либеральный переворот 1991 г., не изменила кардинально положения дел: мучительная каждый раз проблема этического выбора — интерес государства или интересы индивида — а priori решалась в пользу государства. В противоположность сказанному когда-то Дж. Ст. Миллем, россиянин, даже разделяющий ценности демократизма, уверен: «Государство знает, что нужно человеку, лучше любого индивида».

Эту одностороннюю диалектику российского демократизма предстоит еще осмыслить в полном объеме. Здесь же мы ограничимся констатацией: сам *способ*, которым достигалось освобождение народа, нес в себе потенцию бюрократического вмешательства. Не раскрепощенный внутренне, не утвердивший в себе чувство собственного достоинства, равно как и чувство ответственности, «простой» россиянин трактовал и до сих пор трактует свободу как произвол, беззаконие, безудержный эгоизм, обуздать которые призвано «сильное», патерналистское государство.

Большевизм не случайно возник и развился в России. Как система идей и политическое движение он сумел опереться на основные, идущие из прошлого особенности национального характера россиян. Большевизм наиболее рельефно выразил в своей доктрине *социально* ориентированный демократизм россиян с его исключительной установкой на экономическое освобождение. Проблемы гражданских свобод, политических прав, нравственных ориентиров не существовали как проблемы (не существуют они и сегодня) или проявлялись в связи с подчиненностью экономическим

отношениям. Россиянин, как представляется, в своей массе до сих пор не поднялся до восприятия свободы как морального долга, осознания своих границ и границ других. Он все еще надеется на государство больше, чем на себя, на свои усилия. Правовое государство для него — все еще недостижимый идеал, недостижимый потому, что, с одной стороны, само государство в лице коррумпированного чиновника постоянно нарушает собственные законы, с другой — «простой человек» не верит людям, осуществляющим закон.

С точки зрения марксовской доктрины, по отношению к освободительной миссии пролетариата все остальные классы, слои населения, их борьба не играют самостоятельной роли: социал-демократия имеет полное право рассматривать их как орудие осуществления своей великой цели. Во всяком случае преобладание силы над согласием, меньшинства над большинством вполне вписывалось в теорию борьбы за социализм. Только достигнув высокой ступени сплоченности общества, новая, социалистическая власть может ставить крупные решения на всеобщее голосование. Другими словами, диктатура пролетариата открывала широкие возможности для применения не опирающегося на закон насилия.

Надо сказать, что Ленин и большевики воспользовались этими возможностями и в ходе Октябрьского переворота, и в годы «военного коммунизма». Большевицкая власть оказалась не гегемонией рабочего класса крупных промышленных центров по отношению к крестьянскому большинству, как казалось некоторым в России и Европе, а *организованным насилием* господствующей группы (большевиков) над всем остальным населением — частью рабочих, крестьянами, интеллигенцией. В этом смысле Ленин, при всем уважении к букве марксизма, развил оригинальным образом лишь определенные аспекты доктрины марксизма — учение о переходных периодах истории, роли диктатуры и террора. (Для сравнения напомним, что итальянский марксист А. Грамши развивал учение о роли гегемонии пролетариата — политической, культурной, нравственной.)

Итак, российская социал-демократия раскололась на два враждебных течения — меньшевизм и большевизм. Разногласия по организационным вопросам быстро переросли в тактические, а вскоре и принципиальные, политические. Победа большевиков в гражданской войне сделала их господствующей партией в государстве, меньшевики же вынуждены были эмигрировать либо прозябать в подполье. Обе стороны показали в ходе революций — февральской и октябрьской, — как они на деле понимают демократию и демократические ценности. Одержало верх большевистское понимание социальной демократии — монополия победившей партии на власть, террор против всякого инакомыслия, насильственное огосударствление всех сфер общественной и экономической жизни во имя «интересов народа».

ГЛАВА V

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И БОЛЬШЕВИЗМ

Социализм, как искомая социальная форма, к которой апеллировали русские социал-демократы XX века, возник в Европе в свое время как реакция передовой мысли на пороки, нравственную и материальную нищету трудящихся классов при капитализме. Проблемы и противоречия буржуазного строя предполагалось разрешить или, по крайней мере, преодолеть, рационализируя производство, вырвав его путем революции из зависимости частных собственников и прихоти личного эгоизма. Несмотря на издержки, неизбежные упрощения и даже ошибки социалистическое учение Маркса верно намечало основное направление экономического прогресса. Опыт развивавшегося в XIX веке рабочего движения и появления социалистических партий, казалось, подтверждали намеченные Марксом пути развития общества, открытые им на основе анализа законов и логики капитала.

Но в России, как, впрочем, и в других регионах земного шара (за исключением Западной Европы и Северной Америки) речь шла не о преодолении капитализма, а о создании условий для капиталистического способа производства и сопутствующих ему общественных и политических отношений. Включение в мировой процесс сотен миллионов людей, бытие которых связано почти со всеми известными науке укладами жизни и общественными формами, гигантски раздвинуло границы мира, как географические, социальные, так и, в особенности, границы исторического действия. Более или менее однотипная европейская революционность

превращается во всемирную, с громадным многообразием типов противоречий, несовпадением ритмов и форм движения, «неудобными» исключениями, относящимся часто к существенным моментам развития, т.е. со всем тем, что характеризует *становление единства человечества*.

О чем шла речь в России, вступившей окончательно после 1861 г. на путь развития капитализма? Выражаясь коротко, — о разрешении вопроса, который был поставлен, пусть в неадекватной «утопической форме», народничеством. Правда, в устах социал-демократов он формулировался более определенно: как совместить политический переворот — уничтожение самодержавной власти с социальным (хотя и не социалистическим), т.е. демократическим, революционным путем осуществить пересмотр «великой» крестьянской реформы. Для социалистического движения в России это означало движение в сторону все большего соприкосновения с действительностью, все более решительное признание рабочим движением насущных, хотя и непосредственно не связанных с социализмом, проблем развития страны.

Как мы видели выше, замена прежних абстрактно-теоретических формул социалистического учения на более сложное, реалистическое понимание действительности шло в России трудно, через борьбу и расколы. Приходилось принимать во внимание только несколько неизменных точек марксистской ориентации, все остальное, и прежде всего политическую тактику, надо было выработать самостоятельно, учитывая исторически особую действительность России. Фокус разногласий в среде социал-демократии сводился к вопросу о соотношении борьбы с унаследованными бедствиями, изжившими себя способами производства и борьбой за более развитые условия существования пролетариата в рождающемся капиталистическом обществе.

Никто из российских социал-демократов не сомневался, что предстоящая революция в России будет носить буржуазный характер. Даже если в ходе развития событий получат преобладание пролетарско-плебейские элементы горо-

да и деревни, они, как это не раз бывало в европейских революциях, своей деятельностью помогут лишь расчистить почву для господства буржуазии — единственного класса русского общества, способного утилизировать результаты революции. Но что несет с собой революционная перспектива в условиях России начала XX века в условиях новой, более высокой, чем в свое время на Западе, группировки классовых сил? Останется ли рабочий класс, социалистический, как тогда считалось, в пределах идей и средств старых революций или, возглавив все революционные силы народа, опираясь на опыт и поддержку пролетариата более развитых стран Запада, сумеет изменить порядок и формы буржуазной эволюции страны? Наконец, как должна социал-демократия относиться к новым, еще неизведанным возможностям — как к химерическим мечтам или как к максимуму требований, достижение которых может видоизменить действие «общесоциологических законов»? Ответ на эти вопросы могла дать, разумеется, только история. Но разница между Лениным и Плехановым, между большевиками и меньшевиками как раз и заключалась в том, что и первые учитывали в своей тактике фактор новизны, который могла создать и создала русская революция, вторые же ограничивались старыми задачами и формами революционного процесса.

Перипетии борьбы большевиков и меньшевиков наносятся за пределами предмета данной работы. Отметим лишь одно. Мы не являемся сторонниками представления о предопределенности одного-единственного маршрута исторического движения, т.е. не разделяем социологическую парадигму меньшевистской теории — ход развития событий определяется многими составляющими и содержит в себе, естественно, в виде потенции, *разные* векторы движения. Но в отличие от сторонников ленинизма, последователей и учеников вождя большевизма, нам чужда точка зрения апологетики революционного действия как такового, тем более использовавшихся революционерами средств.

Да, Россия после октября 1917 г. избрала *другое* по сравнению с Западной Европой развитие. В целом оно носило закономерный и в определенном смысле прогрессивный характер, но его вряд ли можно расшифровать только в терминах прогресса. Проникновение в его генезис требует, думается, иных понятий, иных, более квалифицированных средств анализа. Чтобы читателю сразу же была ясна исходная мысль автора, переход от одной ступени к другой в развитии российского общества мы усматриваем не только и не столько в смене общественно-экономических формаций — феодализма капитализмом после 1861 г., капитализма социализмом после 1917 г., сколько в изменении типа взаимосвязи и соответственно типа разрешения конфликтов разных социально-экономических форм, в характере и природе слоев и классов, которые определяют связующую общество и стоящую над ним силу: государство. В эту схему власти вписывается и Октябрьская революция — великая и трагическая веха отечественной истории.

Почему чисто формационный подход не соответствует предмету анализа — характеру развития российской истории во второй половине XIX — начале XX века? Да потому, что разложение крепостного строя в России происходит в рамках капитализма. «Предыстория его не просто передвинулась за формационную черту, но стала частью собственно истории капитализма в России, притом такой частью, которая делает последний, так сказать, органически «нечистым»⁶⁷. А социализм, вернее движение к нему, в России? Он начинается со взятия власти большевистской партией, сумевшей опереться на городской пролетариат и полупролетарские элементы деревни. При этом, как указывалось выше, не исчерпание ресурсов развития капитализма (он в это время рос и прогрессировал), а невозможность преодолеть старые и новые диспропорции с помощью этого роста стала главной причиной пролетарского переворота. Прогресс, который оставался *буржуазным по своему экономическому содержанию*, переставал быть «буржуазной мерой» (Ленин). Создать класс

свободных от крепостничества мелких производителей оказалось не под силу буржуазной революции, но стало реальностью в качестве составной части пролетарского переворота. Иными словами, состав сил, оказавшийся способным осуществить неотложные буржуазные преобразования в России был не буржуазным, а антикапиталистическим по идеологии, по характеру, по направленности своей борьбы.

Это противоречие идеологии и осуществленных задач наложило глубокую печать на способ действия большевиков. Якобинизм в политике и якобински трактуемый марксизм в теории появились не случайно — они открывали «возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах»⁶⁸, перехода, который, согласно Ленину, не отменял социализма, а видоизменял путь к нему.

Если попытаться сформулировать основное противоречие большевизма и Октябрьской революции в понятиях старого «классического» (и европоцентрического) марксизма — а именно так осмысливали проблему Плеханов и его сторонники, — то оно выглядело бы примерно так: в *отсталой* стране («средне-слабого» развития капитализма) — такой была Россия в начале XX века — *передовая* партия вынуждена была принять активное участие в *передовой* революции. Большевики овладели государственной властью, но овладели, используя слова Энгельса, «в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство»⁶⁹. Именно Октябрьский переворот и победа в гражданской войне явили взору большевиков глубокую пропасть, отделявшую их стремление к социализму от непосредственно окружавшей их реальной действительности. Связанная доктриной и требованиями, вытекавшими — вновь используем слова Энгельса — не из данного соотношения классов и не из данного состояния условий производства и обмена, а из понимания общих результатов общественного и политического движения в передовых странах Европы, большевист-

ская партия оказалась вынужденной искать в этих условиях насильственные способы решения, ставших перед страной задач, носивших в принципе буржуазный характер.

Такой ход событий предвидел П.Аксельрод, один из членов группы «Освобождение труда». Он писал еще в 1903 г.: «Если, как говорит Маркс по поводу Великой французской революции, «в классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы иллюзий, необходимые для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы», то отчего бы истории не сыграть с нами злую шутку, облачив нас в идейный костюм классически=революционной социал-демократии, чтобы скрыть от нас буржуазно-ограниченное содержание нашего движения»⁷⁰. Единственное, что можно было бы добавить к высказыванию Аксельрода, так это гигантский размах и глубину активности народных масс в 1917 г., которая, собственно говоря, и выразилась, в числе прочего, в антибуржуазной направленности революции.

Большевизм и Октябрьскую революцию нельзя оценивать только в терминах социализма, потому что вопрос шел о решении неизмеримо более глубокой проблемы — о создании основных посылок современной цивилизации в России, о втягивании гигантской евразийской страны в общий ход мировой истории. Как ни важен субъективный фактор (революционная активность рабочих и крестьянской бедноты в Октябре 1917 г., их антибуржуазная настроенность), полагать, что он предопределил а priori социалистический способ социальных противоречий и направленность эволюции страны значит придавать происшедшему статус социологического закона, лишать историческое развитие более широкого, всемирно-исторического измерения.

На деле сдвиг, который произошел в результате Октябрьского переворота, не уместается в рамки «только» перехода к социализму, «Социальный вопрос» в России был неизмеримо шире, чем самоосвобождение пролетариата, и включал в

себя аграрную проблему, национальный вопрос, индустриализацию, изменение соотношения разных социально-экономических укладов, типа власти, культурный подъем населения и т.д. и т.п. Характер его определялся не столько противоречиями пролетариата и буржуазии, сколько конфликтом разных форм и средств приобщения страны к современной (естественно, в тогдашнем понимании) цивилизации, способов завоевания основных предпосылок ее. Отсюда решающее значение — о чем часто забывают — имела социальная и соответственно политическая формы разрешения этих конфликтов.

Буржуазные по своему экономическому содержанию задачи, стоявшие перед Россией, не переставали быть таковыми и после победы большевиков в октябре 1917 г., в период «военного коммунизма», НЭПа, а затем перехода к «строительству социализма», хотя они осмысливались господствующими группами в понятиях и схемах марксизма, большей частью упрощенного, отредактированного в духе якобинизма. Их буржуазный характер оставался непреложным фактом, от которого невозможно было отмахнуться. Более того, социальное целое России включало в себя не просто разные, но разнонаправленные векторы. Государственный, «социалистический» уклад являлся лишь одной из составляющих российской экономики среди других укладов: буржуазных и добуржуазных. Неоднозначность, «неопределенность» эволюции страны таила в себе как огромные опасности, так, впрочем, и новые возможности. Социализм в этих условиях оказывался не определенной, фиксированной формой социального и политического устройства, а процессом самоизменения, самоцивилизации массы народа, разбуженного революцией, вырванного ею из привычных ниш, осваивающего ее и сопротивляющегося ей.

В процессе изменения было втянуто все политическое, экономическое и духовное пространство России, он был и сложен и многомерен. Вот почему ни капитализм сам по себе, ни «строительство социализма» как таковое не выражают

специфики постоктябрьского периода. Переход к социализму включал в себя поиск модели интегрального развития России, которая была бы ориентирована на различия, на разные подходы, на несовпадающие обстоятельства и традиции, на различия культур, не говоря уже об учете местных особенностей в отношении к труду, к собственности и т.д. Словом, единой универсальной формулы перехода России — «мира миров» — к современной цивилизации не существовало. Только Ленин осознал это, правда в последние годы жизни, и попытался наметить пути дальнейшей исторической эволюции страны. Он не успел: болезнь и смерть не дали ему закончить поиск новой стратегии. Но трагедией для дальнейшего развития России явилась даже не смерть вождя революции, а стремление его соратников, шире — большинства его партии, к нахождению одного-единственного «социалистического» решения проблем. Оно заключалось в принудительном выравнивании условий и различий, которое в итоге привело — и не могло не привести — к созданию тоталитарного строя. Якобинизм в России не потерпел поражения, как это произошло во Франции в конце XVIII века, а, наоборот, одержал победу и переродился в тоталитаризм. Ленинская идея *самотермидоризации* оказалась чуждой для большевиков. Они по-прежнему верили в созидательную роль насилия. За это страна заплатила кровавым термидором, который под флагом продолжения революции смел с политической арены прежнюю партию энтузиастов-функционеров и заменил ее партией «номенклатуры».

С точки зрения действительных социальных задач, которые пришлось осуществлять большевикам, традиционное истолкование марксизма-ленинизма как идеологии социалистического преобразования России оказывается, мягко говоря, абстрактным: под флагом социализма Ленину, большевикам пришлось решать *буржуазные*, шире — цивилизационные задачи (аграрный вопрос, индустриализация, культурная революция). Большевизм с его прямолинейностью, непримиримостью и «революционным марксизмом» наибо-

лее четко выразил *одну* из сторон конфликта внутри широкого освободительного движения, один из способов приобщения России к всемирной цивилизации. В отсутствие гражданского общества новые, иные (по сравнению с Западной Европой) социальные и экономические возможности прогресса связывались в первую очередь с деятельностью партии-государства, с возможностями последнего проникать в процесс экономического развития, перераспределять его ресурсы.

В этом пункте следует остановиться на якобинизме, его роли в ходе революции и в постреволюционный период.

Автору этой работы приходилось писать о большевистской партии «нового типа» как о якобинской по своему существу партии. Да и сам Ленин представлял революционную социал-демократию в виде якобинской организации. «Якобинец, неразрывно связанный с *организацией* пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, — писал он в работе «Шаг вперед, два назад», — это и есть революционный социал-демократ»⁷¹. Якобинец служил для него образцом революционера, а людей, отрицавших связь между социал-демократизмом и якобинством, он обвинял в либеральном уклоне («смотрят на якобинизм глазами либералов»). И не случайно он называет в 1918 г. большевиков «якобинцами XX века», прибавляя, правда, нечто странное — «якобинцы без гильотины» (!?). Но главное, пожалуй, заключалось в другом: вся политика «военного коммунизма» была попыткой прорыва в будущее путем якобинских мер.

О значении якобинизма во Французской революции написано немало. Якобинство ассоциируется, как правило, с методами революционной мелкобуржуазной партии, сыгравшей выдающуюся роль в событиях Французской революции конца XVIII века. Деятельность Конвента в 1793—1794 гг., решающие удары по врагам революции — внутренним и внешним — справедливо связываются с энергией якобинцев. Однако, думается, глубже вся историческая роль якобинцев была раскрыта в «Тюремных тетрадах» А. Грамши. Он определяет якобинцев, прежде всего, как партию, кото-

рая толкала массу народа, в том числе и буржуазию, «на позиции более передовые по сравнению с теми, которые пожелали бы занять решительные на первых порах группы буржуазии и даже значительно более передовые по сравнению с теми, которые были возможны благодаря историческим предпосылкам». Их метод заключался в форсировании событий, но в особенности «в создании положения непоправимых совершившихся фактов». Именно решительные действия якобинцев, по его мнению, позволили не попасть революции в ловушки, расставленные старыми силами. Якобинцы, по Грамши, «противятся всякой промежуточной остановке революционного процесса и посылают на гильотину не только элементы старого общества, которое не хочет умирать, но даже вчерашних революционеров, ставших сегодня реакционерами». Вот почему они «представляли не только непосредственные нужды и стремления французской буржуазии, но и революционное движение в целом как единый исторический процесс, потому что они представляли также интересы будущего»⁷².

Думается, большевики с их политикой насильственного развязывания энергии народных масс, с тем, чтобы сделать их союзниками рабочего класса, с их «подталкиванием» разных групп и классов на позиции более передовые, чем это позволяли исторические условия, с их беспощадностью по отношению к врагам революции и колеблющимся элементам как раз и были *российскими якобинцами*. То, что их идеология была «социалистической», не меняет дела: не социалистические, а буржуазно-цивилизационные по-своему экономическому содержанию преобразования стояли на повестке дня в России в начале XX века.

Если говорить не о социалистической идеологии, а о реальных моментах социалистического переворота по Марксу, то они сведутся: 1) к нападению на частную собственность; 2) к перевороту, осуществленному в интересах и с участием низших классов — не более того. Даже субботники, которые Ленин со свойственным ему преувеличением доб-

родетелей рабочего класса называл зародышем нового, коммунистического отношения к труду, были на деле инициативой передовых рабочих, осознавших угрозу голода и разрухи в стране, раздираемой гражданской войной. В этом смысле социализм не перечеркивал якобинизма пролетарских революционеров, а, наоборот, шел ему навстречу, становился воистину «якобинизмом XX века».

Как показал опыт большевизма в России, якобинизм нес с собой новые возможности борьбы за власть, превращения скрытого недовольства массы нетерпимыми условиями жизни в открытое возмущение и восстание. Но в то же время он таил в себе и огромные опасности: организация революционеров, захватившая рычаги государственной власти, все меньше начинает верить в способность народа к сознательному созидательному делу и все больше — в собственные бесконтрольные действия, в воспитательную силу расстрелов, концлагерей и т.п. Коренная идея марксизма — рабочий класс способен освободить себя, лишь освободив все общество — превращалась в устах российских якобинцев, клявшихся в приверженности социализму, в пустой звук, поскольку демократию, самодеятельность народа они относили только к заключительному этапу борьбы — к коммунизму. Но главное, пожалуй, заключалось в другом. Якобинское начало, четко выраженное в мышлении и личности Ленина не было специфически ленинским. Оно глубоко коренилось в исторических и социальных условиях России, в ее культуре, традициях. Именно они определяли формирование нравственных качеств, интеллекта и образа действий целого слоя людей, участвовавших и победивших в революции. Отсюда драматическая судьба ленинских прозрений в период НЭПа и та легкость, с которой Сталин одержал верх в партии, выпестованной Лениным.

Другими словами, пролетарский социализм, основанный на применении к нашей стране западноевропейских марксистских схем, которые отражали положение и проблемы стран, неизмеримо более передовых в культурном, соци-

альном и экономическом отношениях, оказался несостоятельным *в качестве социализма*, т.е. демократического социального творчества. Сначала пролетарски якобинская революция, затем — после короткого периода НЭПа — сталинский терроризм превратили учение социализма в фикцию, прикрывающую всевластие партии и ее вождей, и лишь отчасти, в искаженном виде, отражавшую его содержание. Социализм, мыслившийся как принципиально новая и более высокая ступень общежития, социального прогресса, в России таковым не стал.

Но если оставить в стороне социалистические мерки, то мы должны рассмотреть пролетарское движение и Октябрьскую революцию 1917 г. в их исторической правомерности. Правомерность эта выходит за пределы аграрного переворота и свержения самодержавия. Фактически, при всех ее колоссальных издержках, революция совершала социальный переворот, уничтожала вековой антагонизм «белой» и «черной» кости, «барина» и «мужика», дала сильнейший импульс экономическому и социальному развитию страны. Другое дело, что в силу жизненного положения и традиций низших классов, от которых исходили преобразования, они практически не затронули сферы государственности, не говоря уже о демократизации политической жизни. Но тут дело и в «менталитете» россиян. Историческое прошлое народов Западной Европы, богатое борьбой и уроками, создало тип современного гражданина, человека из народа, который сам относится к себе с известным уважением и которого вследствие этого вынуждены уважать правящие классы. В России же многовековая работа самодержавия по искоренению всяких следов внутренней демократии в народе, чувства собственного достоинства у простолюдина, произвол высших сословий, засилье чиновничества и бюрократии в повседневной жизни сформировали менталитет «простого человека»: рабочего, бедняка, мещанина, маргинала — чьими характерными чертами были ожесточение, гражданская пассивность, безразличие к политике, униженность перед властью, дол-

готерпение. Конечно, и в России существовал и слой развитого промышленного пролетариата с совсем иными установками и представлениями, но не он задавал тон в революции, особенно после Октябрьского переворота.

* * *

Итак, якобинские методы и демократия несовместимы между собой. Якобинизм в России (как, впрочем, и во Франции) был отрицанием демократии, точнее, он решал демократические задачи недемократическими, насильственными средствами. Сколько бы ни оправдывать якобинскую политику большевиков войной и тяжелейшими условиями, в которых очутилась страна в результате войны и революции, якобинизм сыграл трагическую роль в истории России. Речь идет не только и не столько о бедствиях гражданской войны — революции, особенно народные, всегда сопровождаются массовым применением насилия и иначе совершаться не могут. Вопрос в другом: большевизм, коль скоро он оставался у власти, освятил идеологией социализма геноцид государства против собственного населения, проложил дорогу тоталитарному строю в России. В итоге ленинская идея «иногo перехода к созданию основных посылок цивилизации» обернулась не социализмом, а *державностью*, для которой государство было все, а человек — ничто. В условиях страны с полуазиатскими нравами, со слабой демократической традицией это государство оказалось в состоянии серьезно ослабить интеллектуальный потенциал страны, расшатать устои народной нравственности и прочно заблокировать политическую (демократическую) инициативу.

Было бы неверно, однако, «выпрямлять» исторический процесс, не замечать «развилки, которые порождала революция и которые, к сожалению, не были использованы прогрессивными силами в партии и стране. Самой крупной из таких «развилок» был НЭП.

Два исторических потока — пролетарский и крестьянский — разных по характеру, по потенциям на короткое время слились воедино в борьбе с общим врагом — дворянской и сросшейся с ней буржуазной Россией. Но только на короткое время. Пределом якобинской политики большевиков стала весна 1921 г. Охваченные яростным недовольством и возмущением коммунистическими порядками крестьянские массы в ряде губерний восстали против большевиков. Лозунг «Советы без коммунистов» стал знаменем этих выступлений (Кронштадский мятеж, Антоновское восстание). Замена продразверстки продналогом, а затем денежным налогом позволила сразу же резко сузить сферу применения насильственных средств по отношению ко всем трудящимся классам (недовольство выражали и рабочие). Однако НЭП — был не просто уступкой крестьянству, как мелкому производителю (но не как гражданину). В более широком смысле он вводил революцию в ее исторически законные рамки. То, что во французской революции было сделано путем свержения якобинской власти, в России стало вынужденной обстоятельством, но сознательно принятой политикой «самотермидоризации», которая не предусматривалась ни программой большевиков, ни их идеологией. НЭП являлся стратегическим поворотом от методов Октября и «военного коммунизма», сводившихся к *ломке* старого общественно-экономического строя, к *реформизму*, оживлению торговли, предпринимательства, капитализма и последующему по мере их оживления государственному регулированию.

Казалось бы, политическое (и демократическое) обновление в стране было неизбежно. Но оно не произошло. Разобщенность крестьян, громадность территории страны исключали достижение какого-либо общего согласия. Действовала долгая, переходившая от поколения к поколению привычка к подчинению и покорности. Жестокость методов «военного коммунизма» исчезла, но память о расправах над составившими в 1921 г. была свежа. К тому же требование неотъемлемых прав личности и принципа самоуправления

никогда не было в России *народной* проблемой. Зато привычка рассматривать экономическую («социальную») проблему как главную, ключевую была глубоко укоренена в народном сознании, равно как и повиновение власти, какой бы она ни была. В результате революции крестьяне получили главное условие своего благосостояния — землю. Что касается политической свободы, то она до поры до времени не интересовала массы.

Революция разрушила социальное рабство крестьянства. Однако одновременно она перекрыла ему доступ к политической власти. Тот же класс — пролетариат, — чью власть она санкционировала в силу своей культурной неразвитости, а также бюрократизма государственного аппарата, не обретал никакой политической значимости. Политическое господство рабочего класса было втиснуто в рамках деятельности одной-единственной, централистски организованной партии, монополия на руководство которой принадлежала кучке вождей, а в итоге — одному человеку. Такое положение означало, что те группы внутри партии, которые стремились к активной работе, к самостоятельному мышлению, неизбежно становились фракциями, оппозициями, противостоящими руководству партии («генеральной линии» — как тогда выражались).

И все-таки НЭП был историческим поворотом в жизни страны. Он заставил, если не партию — большинство ее рассматривали НЭП как политический маневр, — то, во всяком случае, Ленина задуматься об *альтернативе Октябрю* и «военному коммунизму». Он первый попытался выработать формулу единства разных социальных сил, формулу «самотермидоризации», противостоящей большевистскому якобинизму.

Можно соглашаться или, наоборот, опровергать тезис Ю. Буртина, утверждавшего, что НЭП стал пониматься Лениным — хотя и не сразу, а лишь в итоге — «как собственно социализм, хотя и в первоначальном и не обработанном виде»⁷³. Но нельзя отрицать одного — глубокое осмысление сути НЭПа потребовало от Ленина *мировоззренческого переворота*.

Ленин рвет с прежней пролетарски-якобинской стратегией и практикой. В самом деле. Констатируя различие интересов крестьянства и городского пролетариата («мелкий земледelec не хочет того, чего хочет рабочий»), Ленин тем не менее признает, что эти несовпадающие интересы «в равной степени заслуживают удовлетворения». Вместо призывов к «решительности» (насилию) в ленинском лексиконе выдвигаются на первый план такие понятия, как «компромисс», «уступка», «уступчивость», «постепенство» и «реформизм», «оживление предпринимательства» и т.п. Ленин призывает «сомкнуться с крестьянской массой и вместе с ней (подч. мною — *И.П.*), в сто раз медленнее, но твердо и неуклонно идти вперед. Тогда наше дело будет абсолютно непобедимо, и никакие силы в мире нас не победят»⁷⁴.

Какие же мировоззренческие выводы следовали, на наш взгляд, из НЭПа, хотя они и не обрели в мозгу больного Ленина более или менее определенную форму. В многоукладной стране, такой как Россия, пролетарской власти предстояло синхронизировать *разнонаправленное* развитие, а не подавлять большую часть его во имя эмансипации одного, самого прогрессивного согласно учению марксизма класса. Тем самым ставился под сомнение постулат единоосновности развития мира, составлявший символ веры «классического» социализма, а с ним вместе идея социального первородства рабочего класса — главной силы будущего социального устройства. Идея *исторического компромисса*, к которой Ленин пришел к концу жизни, основывалась на предпосылке несводимости разных укладов к одному-единственному, даже самому передовому, прогрессивному. Социализм и в конце жизни не ставился под сомнение Лениным, но в том-то и заключалась проблема, что ему, как и капитализму, «не стать в одиночку Миром — единственностью человечества»⁷⁵. Вот почему в отличие от прошлого решающее значение стала иметь *социальная форма* исторического движения, связанная не только с экономикой (а я бы сказал и не столько с экономикой — *И.П.*), но с политикой, с культурой, с цивилизованностью населения.

Словом, социализм следует понимать, о чем говорил еще Маркс — не как «состояние, которое должно быть установлено» и не как *«идеал*, с которым должна соотноситься действительность, а как *действительное* движение, которое уничтожает теперешнее состояние»⁷⁶.

Что же касается крупных демократических преобразований, способных породить в народе политическое сознание — необходимое условие формирования современной демократии — то они в эпоху НЭПа не предусматривались даже в перспективе. Ни о какой демократии в то время речь идти не могла: политическая власть народных масс была сведена к фикции — съездам Советов, в которых доминировали большевики. Всеобщее избирательное право выполнило свою миссию образовательной школы. Диктатура пролетариата не нуждалась больше в одобрении масс — она была *властью для народа, но отнюдь не посредством народа*. Все было подчинено *сохранению* власти партии, движению по старой, самовластной колее, по которой веками шло российское общество. Во всяком случае, что касается роли власти и властных структур, то здесь Ленин и его соратники оказались наименее революционными, вопреки видимости они были прочно связаны с русской государственной традицией и придерживались линии наименьшего усилия. Политическая борьба понималась ими только как применение грубой силы. Высокомерие победивших яacobинцев и страх перед контрреволюцией толкали их на подавление любого инакомыслия, любой вспышки недовольства. Чего стоит, например, высылка из России на Запад большой группы интеллектуалов, расстрел ЧК — с согласия Ленина — поэта Н.Гумилева, расправа с тысячами «бывших», стремление во что бы то ни стало дискредитировать церковь и т.д. Все это свидетельствует о том, что отход от яacobинизма в политике проходил у Ленина тяжело, со срывами и отступлениями назад. Даже поворачиваясь лицом к новым общественным потребностям, он по-прежнему понимает социализм как диктат революционного меньшинства, по-прежнему мыслит политическое действие

только сверху вниз, но никогда — наоборот. Наконец, в условиях, когда понятие «социалистический» начинало звучать по-иному (причем он сам говорит об этом), Ленин больше всего беспокоится о сохранении единства партии, не понимая, что такого рода единство означает исчезновение свободы внутри партии, любого достойного противодействия руководству, любой попытки мыслить самостоятельно. И это в период, когда поиск новых ценностей, которые сменили слепую веру во всемогущество якобинских рецептов, становится условием продвижения партии вперед, залогом ее превращения в партию демократических и социалистических реформ.

Надо ли удивляться после этого победе якобинского большинства в партии, отмене НЭПа, «ликвидации кулачества как класса» и переходу к насильственной коллективизации сельского хозяйства. Якобинское большинство украсит себя именем ленинцев и будет объяснять сталинский террор в терминах социализма. Сформируется казарменное государство, советское государство, общенародное по названию, но рабское и эксплуататорское по существу. Как это часто случается с историческими инициативами, российский социализм свелся к огосударствлению производства, общественной жизни и культуры. Для достижения этой цели большевики пожертвовали всеми остальными условиями цивилизованного строя. К ним относятся мораль и культура, основные ценности жизни, личные и социальные, которые нельзя ввести декретом, поскольку они требуют образования, освоения свободы и усилий длинной череды поколений.

ГЛАВА VI

ПЕРЕХОД К ДЕМОКРАТИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Не слишком еще скоро мыждемся, чтобы каждый честный и храбрый человек стал гражданином, а до той поры... постоянно будет утрачиваться в долгие периоды общественной апатии большая часть тех приобретений, какие делаются в мимолетные эпохи общественного одушевления.

Н. Чернышевский

В последние годы в ученых кругах все чаще говорят о глобальности мира, в контексте которой демократические ценности выглядят по сути провинциальной идеей, своего рода отзвуком политических битв конца XVIII — начала XX в. Подобное отношение к демократии так или иначе находит отклик — и даже обретает своих адептов — в нашем «образованном обществе», которое разочаровано отсутствием у народа гражданских чувств и которое (как ему кажется) дает последний бой авторитаризму и наступлению на права человека, защищая свободу слова (понимаемую как возможность употреблять ненормативную лексику в литературе и на телевидении, без купюр освещать террористические акты и т.д.). Считается, что свобода (правда, неясно, от кого и для чего) — прежде всего, а демократия «приложится» сама собой: конечно, не сейчас, а позже. Другими словами, отечественные интеллектуалы неосознанно отстраняют от себя проблему российской демократии как, мягко выражаясь, преждевременную.

Вечно повторяющаяся российская история! Задачи социализма, либерализма представляются основными, решение же задач демократии откладывается на потом. Люди, иногда очень дельные и образованные, забывают о неотложных проблемах политического и общественного — шире — цивилизационного развития России, когда узнают о «кризисе демократии» на Западе, о несущественности для мировых финансовых потоков политического устройства той или иной страны и т.п.

Но ведь что бы ни творилось там, в Западной Европе, никто не снимет с нас решения *наших* проблем и в первую очередь — проблемы демократизации (в современном понимании этого слова) нашего общества.

Обратимся к прошлому. Когда-то в середине XIX века в Западной Европе появился социализм — тогда еще идеал, а не движение, — и сразу же российская демократическая мысль оказалась напичканной разного рода социалистическими утопиями — иногда прикрывавшими радикальный характер крестьянского демократизма, иногда размагничивающими демократическую идею, ставившими под сомнение значение либеральных ценностей и утверждавшими «общинность», «соборность» русского народа в качестве единственного пути освоения свободы.

Развитие этих посылок, как мы знаем, привело к весьма драматическим для судеб российской политической практики последствиям. В стране, где еще не сформировалось общество, способное придать смысл концепциям свободы как высшего правила человеческого общежития, возникают движения (народническое и большевистское), для которых внезапный и насильственный захват власти с помощью народного восстания есть наиболее эффективное средство осуществления социальных преобразований и освобождения масс. Нельзя забывать, что политическим и социальным эквивалентом победы этой идеологии явились, в конце концов, коммунистический тоталитаризм, сталинская коллективизация, громадные жертвы, выпавшие на долю народов России.

Думается, что тому, кто помнит об уроках российской истории, негоже игнорировать первостепенную важность для нашей страны проблемы демократии. Но и ставить эту проблему так, как ставили ее в конце 80-х — середине 90-х годов XX века, теперь уже нельзя. Превращение демократии из регионального феномена («только» Западная Европа, «только» Северная Америка) во всемирно-исторический процесс демократических изменений с громадным разнообразием типов и форм выдвигает перед современной политической наукой ряд сложных вопросов. Важнейший среди них — диверсификация демократий. Сегодня уже очевидно, что расширение «демократического ареала», включение в него новых стран и народов отнюдь не равнозначны унификации политической карты мира, выравниванию политического ландшафта по меркам и ориентирам развитой либеральной демократии Запада. Когда в поступательное движение истории втягиваются миллиарды людей, бытие которых связано со всеми известными историческими укладами и общественными формами, феномен демократии оказывается разнообразным и многовариантным, не сводимым к заданному образцу. Россия — наглядный пример такой несводимости. В то же время, отвергая прогрессистски-эволюционную парадигму «глобальной демократизации», понимаемой как однолинейное движение к западной форме демократии, нам предстоит еще научиться соотносить, соразмерять «старые» и «новые» демократии сообразно их внутренним критериям, выявлять инвариантность разных типов демократического развития⁷⁷.

Но этого мало. Борьба за демократию в России, повторим вслед за Г.Манном, это бой, исход которого неясен и который надо каждый день начинать сызнова. И дело не в том, что русский народ равнодушен к демократическим ценностям, но в том, что демократия не принесла ему свободы, благосостояния, не решила стоящих перед страной проблем, а скорее обострила и донельзя запутала их. Не решила потому, что «просто» либеральная демократия не в состоянии

постичь природу (и специфику) присущих России трудностей. Приоритет свободы над любыми попытками уменьшения неравенства в сфере потребления оказался чужд отечественной традиции, нашему недавнему прошлому. Коротко говоря, российская демократия должна была стать — но не стала — преодолением, с одной стороны, внутренних (эндогенных) противоречий цивилизационной эволюции России, а с другой — рассогласованностей, более того — разрывов, вызванных внешними (экзогенными) факторами: воздействием передовых стран мира и необходимостью догнать их в экономическом отношении, обменом культурными и духовными ценностями⁷⁸.

Переворот 1991 г. и его последствия

Возмущенные вероломством коммунистических заговорщиков, сотни тысяч людей вышли в августе 1991 г. на улицы Москвы и Ленинграда, чтобы не дать «хунте» повернуть колесо российской истории вспять — к прежним коммунистическим порядкам. Эти люди не были демократами по убеждению, сформированному опытом и изучением политических явлений. Их демократизм был скорее чувством, верой, активным протестом, чем продуманной позицией, а тем более — идеологией. Собравшись 20 августа 1991 г. у Белого Дома, они своим сопротивлением хотели доказать коммунистической «хунте», что единственный источник любой власти — народ, который сам способен выразить собственную волю.

Впервые после 1905 г. требования свободы, прав личности и суверенитета народа стали делом населения (пусть даже его меньшинства), а не диссидентов или интеллигентских групп. Ощущение первейшей ценности свободы на миг охватило широкие слои советского (тогда еще советского!) народа, породив стремление бороться за свою самостоятельность. Миллионы людей, озабоченных лишь проблемами непосредственного существования, неожиданно под-

нялись до понимания связи между улучшением условий своей жизни, уважением своих прав и политической свободой, демократией.

Коммунистический режим рухнул. Он не был свергнут в ходе массового политического движения, а как бы «просел» под тяжестью собственных противоречий. Власть буквально упала к ногам «демократов» и (в союзных республиках) националистов. Целое поколение либерально настроенных интеллигентов, представителей партийной и советской номенклатуры, втайне ожидавшее наступления кризиса (и обсуждавшее его на «кухнях»), склонное к упрощению идей преобразования и к идеализации Запада, внезапно, по стечению обстоятельств, оказалось во главе сопротивления путчистам. Провал путча открыл этому поколению двери в общественно-политическую жизнь, а затем — и во власть. То, что в других странах являлось результатом тяжелой и упорной борьбы, подготовленной предшествующими революциями, в России было получено — вернее, казалось полученным — в одно мгновение в результате натиска на коммунистический ГКЧП, незаконно (с точки зрения советских законов) присвоивший себе власть.

Что же произошло с народом России за эти годы? Почему демократический прорыв не сумел характерным образом обновить страну? В силу каких причин наследниками и душеприказчиками демократов первой волны оказались люди, не имеющие ничего общего с идеалами демократии и справедливости, с устремлениями к свободе, одушевлявшими первое поколение борцов? На какие непреодолимые препятствия натолкнулась демократия в России, разбившая тесные рамки коммунистического режима?

Окинем еще раз мысленным взором истекшее со времени победы над путчистами полтора десятилетия. Кризис, казалось, миновал. Исчезли условия, необходимые для развития демократического движения. И хотя демократическая волна вынесла на поверхность политической жизни новые институты (представительные учреждения, свободные выбо-

ры, парламент, Конституцию, Конституционный суд, политические партии и т.п.), большего она сделать не смогла — уж очень серьезные и неожиданные преграды встретились на ее пути. Подтверждением отката первой демократической волны стали исчезновение с политической арены «Демократической России» — организации, которая была стержнем массового сопротивления в августе 1991 г., обстрел Белого Дома в октябре 1993 г., разграбление государственной собственности (путем ваучерной приватизации, залоговых аукционов, намеренного обанкрочивания предприятий) «новыми русскими», резкое падение жизненного уровня трудящихся (особенно интеллигенции), разрушение социальной и экономической инфраструктуры страны и т.п. И все это происходило на фоне безудержного обогащения нуворишей, увеличения их влияния на центральную и региональные власти, невиданной коррупции чиновничьего аппарата, гигантского роста криминала при полной неспособности государства справиться с ним, и т.д. и т.п.

Иначе говоря, история развеяла иллюзии демократов первой волны. Однако неудача демократии в принятых ею тогда формах отнюдь не опровергает необходимость демократизации как таковой и, главное, не снимает потребность в демократической рефлексии. Скорее наоборот. Правда, сегодня нужна уже не «вторая волна», а выработка такого плана социального устройства, который учитывал бы накопленный опыт и посредством которого страна сумела бы самоопределиться в изменяющемся мире. В противном случае Россию ждет судьба зависимых стран Латинской Америки и Африки — политические перевороты и вечный страх лишиться благосклонности «цивилизованного мира» во главе с США. Кроме того, нельзя забывать, что именно Россия послужила той исторической почвой, на которой вырос коммунистический тоталитаризм с его своеобразными психологией, видением мира и практикой, рассчитанной на «наинижайшие низы» (Ленин) народа. В условиях продолжающегося обнищания (абсолютного и относительного)

населения, раскола общества на бедных и очень богатых протест против социальной несправедливости может обернуться (и уже отчасти начинает оборачиваться) оголтелым шовинизмом, национализмом, а при определенных условиях — и фашизмом.

Бесмысленно сегодня осуждать ошибки и промахи демократов первой волны — они сделали тогда все, что могли. Важнее другое — осмыслить их опыт, их надежды в свете суровых и поучительных уроков, преподанных нам российской действительностью конца XX века, разработать теорию демократического пути России в нашем столетии, не боясь разбить идеологические штампы, созданные «евролибералами» и СМИ, и не рассчитывая на полное и немедленное одобрение так наз. прогрессивной общественности.

Ни в одной стране не было такой плотности, такой универсальности тоталитарных связей, пронизывавших все сферы общественной жизни, как в СССР/России. Ни в одной из европейских стран не сохранилось народной культуры, сформировавшейся до частной собственности и в противовес ее морали. А если добавить к этому государственную собственность на все средства производства, исключавшую любые законные формы частного бизнеса, вспомнить о господстве военно-промышленного комплекса в экономике, громадной армии, разветвленном аппарате КГБ, идеологической и политической монополии КПСС, то станет ясно, что демократии, перенесенной с Запада, так же как и капитализму, предстоит укореняться и прорасти в России на весьма каменистой почве⁷⁹.

Падение коммунизма отнюдь не означало (да и не могло означать) наступления другой, капиталистической эпохи. Конечно, приватизация произошла, рынок складывается, но новая эпоха еще не оформилась: мы живем в период брожения, распада и новых альтернатив. Иллюзия общих интересов, единого в своем устремлении к демократии и свободному рынку общества исчезла, реальность российской

социальной жизни оказалась совершенно другой, неизмеримо более драматичной, несправедливой, чем думало поколение защитников Белого Дома.

Выяснилось, что в стране нет сколько-нибудь значительной организованной группы, интересы которой совпадали бы с интересами многонационального народа и которая была бы в состоянии политически возглавить движение обновления России. Либералы, тщательно копировавшие устаревшие формы классического либерализма с его ставкой на игру частных интересов, с его противопоставлением равенства и свободы, не могли претендовать на роль гегемона освободительного процесса — расклад политических сил в России после десятилетий господства коммунистов кардинально отличался от всех известных в истории европейских народов. Вопросы демократии, коль скоро они не затрагивали гражданских свобод, прежде всего свободы СМИ, прав человека, вмешательства государства в бизнес и т.п., в общем и целом не волновали нарождающееся либеральное общество — глубины и основательности процесса демократизации в России оно просто не осознавало.

Капитал же, особенно в тех формах, в которых он стал складываться в России после 1991 г., обнаружил полную неадекватность задачам, поставленным ходом социальной и экономической эволюции. Правда, возник новый слой, который можно назвать «протобюргерством» (Цымбурский), потенциально несущий в себе тенденции к генерированию демократического капитализма. Однако он был слишком слаб и зависим — не от рынка, не от экономической конъюнктуры, а от своеволия чиновничества, от рэкетиров (включая таможенные органы и милицию), — чтобы отстаивать свои интересы гласно, открыто, на законном основании. В результате развитие крупного (по большей части полукриминального) капитала шло в одном направлении, мелкого и среднего бизнеса — в другом, не задевая главной проблемы новой экономики и соответственно новой общественной жизни: создания условий для становления капитализма сво-

бодной конкуренции. Одни «договаривались» с чиновниками в министерствах, управлениях, прокуратуре и т.п., поэтому демократические процедуры и тем более гласность им были не нужны. Другие откупались от чиновников взятками или уходили «в тень». Демократические порядки им тоже были ни к чему.

Что же касается «простых людей», то они, не осознавая необычайной сложности ситуации в новой России, где происходила непрерывная смена позиций, взглядов и убеждений, представлявшихся еще недавно неоспоримыми, оказались попросту деморализованными.

Здесь мы подходим к трудному пункту в осмыслении противоречий и перспектив демократии в нашей стране.

Потребность в демократическом устройстве вызревала в России существенно иначе, чем в большинстве стран Запада. Там борьбе за демократические институты, за всеобщее избирательное право предшествовало развитие либерального общества и капиталистических отношений. Поэтому и лозунг демократии был там не чем иным, как логическим развитием принципа свободы, родившегося до идеи демократии и независимо от нее. Демократия, обновляя и обогащая либеральную традицию, преодолевала раскол общества на бедных и очень богатых, утверждала политическую свободу для всех его членов, а не только для привилегированного меньшинства собственников. И даже рабочее движение, порой сливавшееся с другими освободительными движениями, порой — через социализм — обособлявшееся от них, оказалось, несмотря ни на что, фактически дополнением к складывавшейся демократической традиции: оно доказало, что проблема свободы не может одинаковым образом стоять перед всеми классами, что реальная свобода для рабочего класса предполагает его экономическое, социальное и моральное возвышение.

В России же демократический импульс, направленный против монополии коммунистов на власть, возник до формирования частной собственности, как воля большинства,

выраженная меньшинством, во имя прав всех — не части общества, а именно всех. Фокусом, в котором сходились (или казалось, что сходились) все противоречия социалистического общества, было государство, вернее, партия-государство, с его разветвленным бюрократическим аппаратом, подавлявшим любые формы политической и культурной, не говоря уже об экономической, самостоятельности населения.

Но главное отличие демократизации России от западных стран лежало глубже: нам предстояло, обзаведясь демократическими институтами, начать строить демократическое общество, создавая предпосылки демократии, в т.ч. слой ответственных собственников, без которых ее существование невозможно. Задача заключалась в формировании демократического этоса, что в России с ее историей, традициями, ментальностью населения требует огромного времени и усилий. Нужно было выработать социально-демократическую программу, согласующуюся с интересами большинства населения. Далее следовало отделить друг от друга разные силы: государство, собственность, наемный труд, а для этого нужны были соответствующие законодательство и суд. Ибо пока нет законности, ответственного собственника появиться не может — он останется совладельцем, вынужденным «делиться» с чиновником, «крышей», вообще с «нужными» людьми. Точно так же, пока трудящиеся, занятые на производстве, не воспитают сами себя демократически, не научатся считаться с более сложным устройством современного государства, власть будет осуществляться *от их имени, но без их участия*.

Более того. Нам требовалось соединить в одной исторической точке процессы, разделенные в истории Западной Европы целыми столетиями: формирование ценностей свободы, суверенитета гражданина и гражданского общества; развитие новых представлений о нормах справедливости, личностной автономии; создание нации-государства и т.д. Я уже не говорю о демократизации государственного строя, о федерализме, местном самоуправлении и т.п.

Очевидно, что добиться синхронизации этих процессов России не удалось: не было ни понимания особенностей каждого из них, ни желания считаться со спецификой возникающих задач. Наконец, не оказалось сил. Но главное, не удалось изменить складывавшиеся веками отношения между обществом и властью, народом и властью. Сами по себе свободные выборы решают в России далеко не все: избранных представителей люди воспринимают как новый правящий слой, который занял место предыдущего и от которого ждут того же, чего ждали от прежнего — патерналистского отношения к «простому человеку»⁸⁰.

Разумеется, в России имеется политический класс (политически значимый слой), принимающий сознательное и активное участие в выборах и влияющий на них. Но его главная цель — провести «своих» людей во власть и занять лучшие места в государственной иерархии. С его точки зрения, политический процесс есть борьба за собственность, за материальные блага, жажда которых не знает границ. Как и раньше, этот слой почти никогда не задумывается о национальных интересах страны. Как и раньше, он закрыт для общественного мнения и гражданского общества (насколько оно себя проявляет). Словом, развал коммунистического режима отнюдь не означал и не мог означать торжества демократии. Антикоммунизм, объединивший на время все мало-мальски активные слои общества, по определению не способен был стать эффективным средством демократизации, вывести большинство «простых людей» из состояния пассивности и направить их в организованное и цивилизованное русло освободительного движения. Более того, антикоммунизм сеял иллюзии легкости движения к демократии, сбивал людей с пути, поскольку пристегивал их фантазии и ум к утилитарным ценностям западного образа жизни (для актуализации которых в России не было условий), обуржуазивал — в худшем смысле этого слова — сознание масс, побуждая их стремиться не к лучшему политическому и социальному порядку, а к вульгарному личному обогащению.

Возвышавшая массу либеральная идеология, когда-то дававшая толчок движению, была в России сразу же заключена в узкие рамки *экономического либерализма*, апеллировавшего в ситуации наступившего социального хаоса к самым низменным побуждениям.

Особенности «демократического транзита» в России

Великие революции эпохи Модерна выдвигали новые проекты исторического развития, открывали, по выражению И.Клямкина, «новые коридоры возможностей»: английская революция — принцип экономической свободы, французская — политической, русская — глобальную идею социального равенства народов. Сравнивая с ними революцию в России, начавшуюся с горбачевской «перестройки» и событий августа 1991 г., невольно приходишь к выводу о том, что ее задача была вторичной по существу: она была призвана реализовать уже известные принципы и начала демократии, приспособить их к нашим условиям.

Думается, что здесь лежит корень многих проблем обновления России. Вторичное — не значит повторяющееся. Более того, повтор для России противопоказан — диагноз наших социальных, политических недугов другой, чем на Западе, да и условия в современном мире настолько изменились, что копирование опыта западных стран воистину смерти подобно.

Конечно, не вступив в Мир, не повторив тот путь «воспитания человечества» (П.Чаадаев), который прошли другие народы, нам не удастся себя найти, «выстроить» изнутри заново. Но каким образом повторить? Искренние сторонники «европеизации» России не понимают, к сожалению, одного простого, но очень важного, решающего обстоятельства: Россия, представляющая собой «страну стран», не может соразмерять свое движение *только с западным типом развития*, она вынуждена учитывать всемирный опыт, внут-

ри которого — гигантские противоречия и разломы, но одновременно и та универсальность, которая нам необходима⁸¹. Наиболее сложное явление, не проясненное сегодня, чреватое неожиданностями, — это, пожалуй, сама современная Россия, которую предстоит реформировать, «обустроить»; Россия с ее громадной территорией, с перепадами в климате и природных условиях, с гигантскими различиями в менталитете этносов, в жизненных ритмах, культурах, нравах, нормах общегития, историческом прошлом и т.д.

Открыть дорогу в Современность разным народам, цивилизациям, стоящим на всех ступенях исторического и культурного развития, сохраняя единство страны, — разве не эта задача стоит сегодня перед человечеством? И разве не к ее решению подвела нашу страну история на рубеже XX—XXI веков?

Другими словами, о вторичности демократических преобразований в России можно говорить разве что *cum grano salis*. Ибо, пожалуй, ни одной стране мира не приходилось сталкиваться с такого рода задачами. «Страна стран», какой является Россия, самим ходом истории поставлена перед необходимостью практически одновременно решать исторически и социально разнородные задачи, относящиеся к разным эпохам: сохранить целостность страны, согласуя с новыми требованиями быт, нравы, уклад жизни миллионов людей, принадлежащих к разным культурам, конфессиям; привить им — именно привить, а не навязать — современный способ правления, либеральный и одновременно демократический; объединить народы России не только административно, бюрократически, но через экономические связи, через товарное производство и рынок, выгодные не криминальным кланам, а непосредственным производителям; создать нацию-государство, что требует радикального расширения кругозора как масс, так и политических элит; наконец, выработать принципиальный подход центральной власти к проблемам регионов, включая русские, тоже отличающиеся друг от друга, — лишь тогда федерализм как демократический институт наполнится реальным содержанием.

Строго говоря, все эти задачи (за малым исключением) имеют косвенное отношение к демократии как таковой. Однако трудность в том, что в начале XXI века решать их придется демократическим методом, как бы ни противились этому отдельные властные структуры, за практикой которых стоят вековые «исконно русские» средства решения социальных проблем.

Но существует еще одна особенность российского «демократического транзита», о которой не думали до переворота, но которая немедленно дала о себе знать после падения коммунистического режима. В России основная задача демократизации состояла не столько в том, чтобы освободить уже развившиеся экономические силы от устаревших юридических и политических пут, как это было на Западе, сколько в перенастройке политики «на домашние цивилизационные задачи» (В.Цымбурский), в создании таких условий, внутренних и внешних, при которых экономика громадной страны могла бы трансформироваться по образцу экономически развитых стран. А это предполагает — и здесь таятся зачатки конфликта — не стихийное движение капиталов, не принцип выгоды меньшинства, а регулирование в интересах большинства стремительно зародившегося капитализма.

В чем заключался конфликт? С одной стороны, была очевидна потребность в рыночной экономике, свободной от вмешательства чиновников, с другой — необходимость регулирующей роли государства, чтобы рыночный маховик не разнес вдребезги демократизирующуюся страну, не подорвал ее единство и целостность. Но именно здесь новое, демократически организованное государство пошло по старому, бюрократическому пути. Отдав на откуп частным лицам основные отрасли экономики, приносящие долларовую прибыль, сложив с себя ответственность за управление государственными предприятиями, власть серьезно подорвала свою способность действовать в качестве влиятельного экономического игрока. А раз так, то влияние государства на экономику

ку, на общество стало выражаться главным образом в административном ресурсе, во всесии бюрократии, центральной и региональной, которая заставила «новых русских» делить с нею прибыль. Не знаю, почему, равняясь на передовые страны с современными демократическими режимами, российское правительство отказалось от прогрессивного налогообложения. В результате одинаковый, 13-процентный, налог взимается с доходов и «простого человека», и миллионеров, миллиардеров. И это не единственный пример. Под влиянием трудностей — а когда же в России их не было — государство сдает свои позиции олигархическим структурам, не имея сил (или желания?) эффективно бороться против лишения своих граждан средств к существованию, против разбазаривания природных ресурсов, неприкрытого браконьерства и простого неуважения к власти.

Далее. Россия вступила сегодня на рыночное поле величиной с Евразию. Соответственно ей придется не просто считаться с особенностями рынка — с ними считается каждое цивилизованное государство, — но и шаг за шагом воспитывать, цивилизовывать этот рынок, чтобы его стремление участвовать в государственных делах не противоречило интересам общественного развития. А этого нельзя сделать, не разрывая опасной, губительной для судьбы страны связи между властью и собственностью, связи, порождающей произвол, коррупцию, криминальное обогащение, надругательство над правами личности и нормами демократии.

Разумеется, без демократии, без свободы, без развития рыночных отношений невозможно решить проблемы социального и экономического развития страны. Но трудность в том, что российская демократия сегодня донельзя слаба — и в идеологическом, и в политическом, и в экономическом отношениях. Зато экономический либерализм не только вырос, укрепился, но и претендует на звание государственной политики. Демократия, возникшая в России именно как отстаивание прав народа против государства, трактуется оли-

гархами (тоже причисляющими себя к демократам!) и поддерживающими их СМИ в духе «минимизации» роли государства в экономике и общественной жизни.

«Минимизация государства» — это русская версия благородного требования либералов XIX в., стремившихся низвести государственную власть до уровня, существовавшего тогда в США. Однако, спускаясь в мир реальных отношений, высоко парящее благородство (об этом писал еще К.Маркс) немедленно превращается в обычную низость. Именно это и произошло в России, где «минимизация государства» обернулась развалом экономики, разграблением природных богатств, невиданным воровством, ростом коррупции и криминала.

Стараниями российских «либералов» (а точнее — тех сил, которые за ними стоят) российское государство забыло, особенно во времена президентства Б.Ельцина, о том, что оно должно быть обществом взаимного страхования против своекорыстия своих членов. Вмешательство государственной власти следует, конечно, свести к минимуму. В России это означает (или, по крайней мере, должно означать) ограничение бюрократического вмешательства в дела общества и бизнеса, замену его профессиональным, прежде всего экономическим, регулированием, — не более того, но и не менее. Абсолютной самостоятельности отдельного экономического агента, независимого от общества, от государственно-национальных интересов, нет даже в самых экономически продвинутых либеральных государствах. Так почему же в стране, выстраивающей (выстрадавающей!) современную демократию, государство, общество должно терпеть людей, целые корпорации, которые ставят свои узкокорыстные эгоистические интересы выше интересов страны, народа?!

Демократия — это не своеволие сильных и богатых, это — в идеале — отстаивание интересов большинства народа, даже если оно пока эти интересы не артикулирует сколько-нибудь явственно, и учет интересов меньшинства.

Здесь мы, пожалуй, подошли к расшифровке своеобразия современной российской ситуации. Коротко говоря, оно заключается в следующем: народ пока не может возвыситься до демократии (сколько веков его подавляли, внушали, что политика — не его дело), «зазор» между «демократическим» и «народным» до сих пор сохраняется; а государство, «образованное общество» еще не в состоянии стать народными, демократическими. Когда-то русским демократам потребовалось совершить буквально коперникианский переворот в своем мировоззрении, чтобы, оставаясь на почве демократизма (тогда западного), приблизиться к проблемам народной жизни. К сожалению, эту внутреннюю саморазорванность российский демократизм не преодолел полностью. И сегодня демократ в России должен бороться с неразумием и произволом масс, с их патерналистскими предрассудками, с образом действий, продиктованным неразвитостью, анархизмом и криминальными поползновениями. Вместе с тем он не должен забывать о целях демократического воспитания, ибо нарушение своих, «народных» интересов массы определяют мгновенно и также мгновенно намечают способы противодействия.

В отличие от стран Запада, где демократия, как правило, венчала собой долгий путь либерально-рыночного развития, в России, вследствие специфики ее истории, провозглашение демократических свобод стало прологом к рыночной экономике и либерализации политических отношений. Необходимость действовать по-новому, не дожидаясь, пока созреют заинтересованные в переменах общественные силы, придает государственной власти колоссальный исторический ресурс — она становится зачинателем и орудием модернизационных преобразований. Телега помещается впереди лошади? Наверное. Но в истории России (впрочем, не только России) такое бывало. Демократизация «сверху», которую начали реализовывать в нашей стране с 1991 г., означала не просто трансформацию в соответствии с требованиями современности политических институтов и политической

практики (как раз эти трансформации оказались не столь кардинальными, как ожидалось), но и, если не преимущественно, тотальное принуждение масс к новому экономическому порядку — рыночным отношениям, конкуренции, товарному производству и т.п. Однако радикальная ломка старых укладов жизни, особенно если она носит тотальный характер, ведет к «расчеловечиванию», жертвами которого становятся не только приверженцы старых обычаев, но и нормально развитые, в принципе удачливые, сильные, «рукастые» люди. Так не раз уже случалось в российском прошлом (вспомним реформы Александра II): масса населения была буквально вброшена в рыночные отношения, не имея ни средств, ни навыков для такого способа хозяйствования. В т.ч. из-за этого капитализм тогда не смог превратиться в фактор, конституирующий целостность общества, зато до предела обострил все его противоречия, вызвав к жизни октябрьские события 1917 г.

Нечто похожее происходит в России после 1991 г. Демократический переворот привел к власти представителей старого советского и партийного слоя, более всего подготовленного к политическому и экономическому господству в изменившихся условиях. Оказавшись «у руля», они прежде всего организовали «обвальную приватизацию», т.е. создали условия для разграбления государственной собственности, разрушили старую социальную инфраструктуру. Миллионы людей внезапно лишились средств к существованию. Криминал получил такую «подпитку», что о нем можно было говорить как о «равноправном» партнере бизнеса и власти. Сегодня криминальный по происхождению российский крупный капитал стремится обрести государственные гарантии условий своего функционирования, однако чиновничий аппарат отвечает ему требованием «поделиться», да и «просто» криминал не собирается отпускать его с миром.

И все же, думается, главное препятствие развитию в России процесса демократизации — не криминал, хотя он достиг невиданных размеров, а приватизация государствен-

ной власти — института, который должен обладать достаточными силой и весом, чтобы противостоять эгоистическим, зачастую даже антинациональным устремлениям «дикого» рынка, олигархических групп и зависимых от них СМИ. Экономическое неравенство неизбежно ведет к неравенству в возможностях, в доступе к власти, в способности воздействовать на нее, добиваясь своих целей. Характерный для переходных эпох вопрос «кто кого» звучит у нас следующим образом: сумеет ли государственная власть с ее коррумпированным бюрократическим аппаратом, слабой правоохранительной системой, бессильными прокуратурой и судом справиться с разгулом криминальной и полукриминальной стихии в экономике и общественной жизни?

Ответ на этот вопрос не предрешен. Сколь бы ни был важен субъективный фактор (действия Президента, законотворческая деятельность парламента), наивно полагать, что он несет в себе альтернативу нынешнему положению вещей, обеспечивая переход к регулируемому капитализму как отрицанию в конечном счете «дикого», криминального капиталистического пути.

Дело не просто в нехватке «правильных» законов, главное — пока не сформирована система, способная пресекать нарушения законов вопреки ожесточенному сопротивлению и коррупции. Условия и средства поменялись местами. Чтобы открыть дорогу современному цивилизованному капиталу (регулируемому капитализму), необходимо реорганизовать государственный аппарат, заставить его соблюдать законы и руководствоваться в своей работе не собственными интересами, а интересами страны. Но сделать это чрезвычайно сложно. Власть по сей день не решается предать суду высокопоставленных коррупционеров и расхитителей, наказывая «стрелочников», а иногда и вообще невиновных людей. Трудно себе даже представить, чтобы некие силы в «верхах» решились всерьез разобраться в том, куда делись средства иностранных займов, на какие деньги государственные чиновники с их скромной заработной платой строят себе

особняки и дачи — в России и за рубежом — стоимостью в миллионы долларов. А судьи, которые должны стоять на страже закона и которые сознательно нарушают его? И после всего этого кто-то еще сохраняет надежду на поддержку власти обществом, на возможность беспрепятственного развития национальной экономики! Здесь — тупик, один из тупиков.

Надо, наконец, понять, что политическая свобода и «диктатура закона» (нам никогда не преодолеть привычки «выражаться красиво») не могут не предшествовать нормальному экономическому прогрессу громадной страны. Но для этого государственная власть — хотя бы ее верхние эшелоны — должна повзрослеть в политическом отношении, т.е. осознать неизбежность конфликта разных форм и средств приобщения к современной цивилизации, подготовки ее предпосылок и — главное — определиться, на чьей стороне она в данном конфликте выступает. Нельзя преодолеть старые и новые диспропорции, вовлечь в общественную жизнь новые группы людей, возвыситься до отстаивания государственно-национальных интересов страны, уповая на «просто» капиталистическое развитие, не задумываясь над *типом* экономической и социальной эволюции. А он-то сейчас — основная проблема, вокруг которой разворачивается ожесточенная борьба.

В нынешних условиях прогресс в России по своему экономическому содержанию может быть только капиталистическим. Назад, к государственному социализму и связанному с ним господству одной политической силы, дороги нет, даже учитывая антикапиталистическую окрашенность протеста отдельных городских и сельских слоев населения. Однако для капиталистического прогресса в экономике, в общественной жизни недостаточно практики и устремлений использующих государственную власть буржуазных групп — он требует также усилий, энергии других, *небуржуазных*, слоев. Назначение демократического режима как раз и заключается в том, чтобы обеспечить условия для политической самостоятельности всего общества (а не одних лишь собст-

венников), видоизменяя тем самым не только состав сил, осуществляющих реформирование, но и, сплошь и рядом, способ преобразований.

Короче, создание современного цивилизованного общества в России предполагает политическое и социальное действие разных групп населения, решение разных по генезису и характеру задач.

Из сказанного, думаем, становится понятным, что противоречие между модернизацией России (демократизация, рынок, конкуренция, отношения между властью и бизнесом) и старой командно-административной системой превратилось в конфликт альтернативных способов приобщения широких масс к современной цивилизации — олигархически-бюрократического и государственно-демократического. Результатом победы любого из них будет энтэровский капитализм. Вопрос заключается в том, *какой ценой* утвердился современный капитализм в России, *кто и как* определит его социальную форму, его политическую физиономию.

Сегодня государство определяют силы, пришедшие к власти в период социального распада 1990-х годов, когда процессы разложения, дезинтеграции далеко опережали формирование новой общественной структуры. Это — слои и группы, которые воспользовались хаосом, порожденным «обвальной приватизацией», чтобы присвоить себе наиболее доходные предприятия и даже целые отрасли; представители центральных и региональных властных структур, захватившие командные высоты в управлении страной; и наконец, криминальные и полукриминальные кланы, «крышующие» (если воспользоваться их же терминологией) теневую экономику и легальный бизнес. Все они выбрались «в люди» за счет лишения основной массы населения элементарных условий существования, социальных гарантий. Приватизация власти по сути стерла границу между легальным и криминальным бизнесом, создала почву для бесконтрольного распоряжения государственным имуществом при отсутствии четко артикулированных прав собственности. «То, что у нас называют собственностью или даже капита-

лом, — справедливо отмечает А.Фурсов, — часто не есть ни то, ни другое, но всего лишь продукт распада, экономическая часть распавшегося присвоения, которая не обрела еще собственной социальности, а по сути — и реальной правовой собственности и, следовательно, не есть самостоятельное или тем более систематизирующее явление»⁸².

Другими словами, эти слои и группы, числящиеся у нас по «ведомству» капиталистической модернизации, на деле таковыми не являются. Взятые сами по себе, они не в состоянии проложить путь к современному капитализму как особой, качественно определенной социально-экономической форме. Современный капитализм как «светлое будущее» России способен возникнуть лишь при условии становления новой структуры власти, нового социума, изнутри развивающегося по законам капитала. Впрочем, исторически-созидательные потенции капитализма для России еще далеко не ясны.

В чем же причины относительной неудачи демократических реформ? На наш взгляд, они кроются прежде всего в губительной психологической и социально-политической незрелости народа, его политического общества — незрелости, в которой некого винить. Думаю, что на нашем веку будут и другие попытки демократизации — более продуманные, учитывающие накопленный опыт. Демократия, тем более в такой стране, как Россия, не может сложиться за один раз — слишком сильны традиции имперского государства. Потребуется еще немало времени и усилий, прежде чем мы приобретем политическую систему, которая сможет называться демократической. Она не станет панацеей от всех российских бед и болезней, но какие-то важные исторические узлы должна будет развязать.

Среди них — упоминавшийся выше «зазор» между «демократическим» и «народным», в результате чего появляются «безнародная» власть и «безвластный» народ. Демократическая практика власти и общества способна навести между ними мосты. Надо, наконец, признать, что сам по себе территориальный принцип современной демократии оказался в России не вполне эффективным. Быть может, его стои-

ло бы дополнить другими, «производственными», формами участия в делах государства (соучастие коллективов трудящихся в управлении, расширение прав профсоюзов, съезды по профессиям, создание на предприятиях разного рода неполитических организаций — экологических, женских, молодежных, спортивно-оздоровительных и т.д.). Вероятно, тогда появятся те, к кому будут прислушиваться и власть, и предприниматели, и «простые люди» и из кого впоследствии вырастут государственные деятели.

Еще одно препятствие на пути демократии в России — закрытость государственной власти от народа, закрытость тотальная, порождающая коррупцию и громадные злоупотребления. У нас пока еще нет «настоящего» гражданского общества, но уже появились первые ростки того, что называется общественным мнением. С ним придется считаться. У граждан России накопилось очень много вопросов к власти, к ее центральным и региональным органам. Почему власть не может обеспечить провод бюджетных денег тем, кому они предназначены? На что потрачен последний транш МВФ? Каким образом крупные казнокрады легко уходят от возмездия? Куда идут прибыли так наз. естественных монополий? И т.д. и т.п. К сожалению, среди российских «верхов» очень много чиновников, слишком озабоченных своей карьерой и доходами, чтобы решиться ответить на все эти вопросы и тем самым сделать существующую власть хотя бы немного прозрачней, и крайне мало «государственных людей». Ответ «простого человека» в этой ситуации — равнодушие к выборам, к политике вообще.

Как уже говорилось, попытки России догнать ушедшие вперед западные страны не раз создавали ситуации — и это повторилось в 1991 г., — когда перемены навязывались раньше, чем вызревали заинтересованные в них и, главное, способные действовать в соответствии с ними политические силы. Парадокс: государство проводит реформы «сверху», опираясь на бюрократию или «партию власти», одновременно отстраняя от активного участия в преобразовании общест-

венных отношений других политических акторов, даже разделяющих идеологию перемен. В результате серьезного политического оппонирования действиям власти нет, важнейшие для страны задачи ставятся с опозданием или же неверно решаются. Как ни странно, сегодня только Президент России (а не правительство, не парламент) использует демократическую практику консультаций со специалистами, с людьми, которых касаются преобразования, прислушивается к их голосу. Тем самым он не дает импульсам «снизу» приобретать негативную направленность, способствует политическому возвышению активных элементов общества.

Конечно, это еще не демократия, но это — одна из демократических процедур, столь необходимых нашему обществу и народу. Масса населения, живущая в разных экономических условиях, этнически неоднородная, без ясно артикулированных экономических и политических интересов, готовая, как и власть, нарушать законы, пока не может активно участвовать в политике и реформировании. Тем важнее советоваться на равных со знающими людьми, не задействованными в политике, подхватывать и развивать идущие «снизу» позитивные импульсы.

И, наконец, последнее. В России невозможно сформировать демократию как унифицированный мир. Она, повторим, — «страна стран», и ее демократический режим должен опираться на общество, где, по удачному выражению Фейерабенда, все традиции имеют равные права и равный доступ к центрам власти. Иного ей, по-видимому, не дано. Но это особый сюжет.

Нашла ли Россия свою модель демократического развития?

Идея демократии разделяет судьбу общих, абстрактных идей, которые пережили несколько эпох, всякий раз наполняясь — по мере развития истории — новым конкретным

содержанием. Соответственно облик и характер демократической идеологии, задачи, решение которых она имеет в виду, могут быть поняты лишь в результате анализа специфических и сложных условий, придавших ей значимость и смысл.

Если говорить о сегодняшнем историческом этапе не только России, но и западного мира, то приходится констатировать, что вместе с ростом самодостаточности экономических процессов уменьшается активная роль специфически социальной сферы, которая все больше приспосабливается к нуждам экономического социума и все менее способна к реализации гуманистических целей. В России эта глобальная тенденция проявилась, как было показано выше, в полной победе «экономического либерализма» над либерализмом в собственном смысле этого слова, видевшем в свободе средств обеспечить всем людям полное развитие их личности, в эрозии идеи гражданственности, в колонизации «общественного» «частным», в растущем безразличии людей к решению долгосрочных задач⁸³.

Что из этого следует? Прежде всего, думается, речь должна идти о модификации форм и методов борьбы за демократию. На первый взгляд, задача демократизации существующего политического и общественного строя России кажется простой и элементарной. Но средства ее решения в конце XX — начале XXI века уже не могут быть простыми, а тем более — элементарными. Ведь вследствие коренного изменения условий, внешних и внутренних, процессы, способные привести к построению в России демократического общества, существенно отличаются от тех, которые происходили в свое время в Западной Европе, да и в самом нашем обществе.

Когда-то демократия — в ее радикальных вариантах — означала доминирование низших классов над высшими, большинства над меньшинством, в умеренных же версиях она исходила из единства всех слоев общества на базе консенсуса разных интересов. Демократическая парадигма строилась на постулате о том, что «народ» является высшей ин-

станцией и мерилom истинности всякой политической теории, что именно он выступает субъектом истории, ее главной движущей силой, и его действия по определению носят прогрессивный характер. Предполагалось, что любой частный интерес должен в конце концов уступить место общему, народному. Возможность суммирования индивидуальностей в «общем деле», идея гражданственности не подвергались никакому сомнению — считалось, что гражданин совместно с другими гражданами в состоянии самостоятельно, без посредников определить права и обязанности, привилегии и обязательства членов соответствующего общества. Отсюда — требование равного доступа к власти, критика любых институтов, отстраняющих граждан от политических решений. Сегодня этот комплекс демократических идей во многом устарел и не соответствует ситуации, сложившейся и на Западе, и в России.

Трагический опыт осуществления в нашей стране «диктатуры пролетариата» (позже — «общенародного государства»), громадное разрастание функций государства и, наконец, тотальная бюрократизация управления в 1990-е годы показывают, что демократизация общества, опирающаяся только на идею гражданственности, на гражданские доблести, неизбежно терпит крах. Дело не только в том, что воспитание населения в гражданском, демократическом духе — процесс крайне длительный и трудный, особенно в России с ее громадным разрывом между доходами «низших» и «высших» слоев, с неравным доступом к ресурсам самоутверждения личности, со слабым интересом к политике. Проблема конкретнее, драматичнее. Гражданственность, гражданское общество не могут появиться в России и стать основой демократии, пока новый режим сохраняет главные черты старого, пока у выборных органов (Государственной Думы и Совета Федерации) нет реальных рычагов влияния на политические решения верхних (да и средних) эшелонов власти. И это в условиях, когда все отчетливее обнаруживается неспособность государства, его исполнительных органов, ре-

шать проблемы даже в пределах своих границ, не говоря уже об установлении социальной справедливости, о государственных гарантиях неимущим, о выработке концепции социального развития и т.п. Полтора миллиона вопросов, заданных В.Путину, — это не только свидетельство демократизма Президента, его стремления не терять связь с народом, но и индикатор неготовности (нежелания) громадного бюрократического аппарата исполнять вмененные ему законом обязанности, соблюдать Конституцию страны и права граждан.

Всесилие бюрократии, коррумпированной и не коррумпированной, но всегда неподконтрольной, стало сегодня основным препятствием демократизации России, возьмем ли мы экономику (средний и мелкий бизнес), местное самоуправление, отношения между регионами и центром, соблюдение федеральных законов и установлений, социальную защиту слабейших слоев населения, сферу отношений собственности и т.п. Под разлагающим воздействием этого фактора падает интерес населения к политике, к демократии, рушатся политические убеждения, сокращается участие людей в мероприятиях, издавна считавшихся политическими. Когда цены не снижаются (а зачастую — и увеличиваются), очереди в районных больницах не уменьшаются, на улицах городов появляется все больше нищих, смертность растет, экологическая обстановка в городах становится нетерпимой, тогда у людей возникает ощущение политического бессилия, расширяется пропасть между «частным» и «общественным», и частные проблемы перестают переводиться на язык общественных.

Говорят, что демократия изжила себя. И это в стране, которой еще предстоит демократизироваться — в «массовом, низовом творчестве», в «изобретении» новых политических институтов, одновременно привычных и непривычных, сопряженных с традициями, нравами миллионов соотечественников»⁸⁴; в стране, которая еще не нашла свою модель интегрального развития, в т.ч. политического. В такой модели должно найти отражение все присущее России разнообразие, все

характерные для нее различия — в местных условиях, в исторических судьбах народов, их культуре и вероисповедании, в климате, ресурсах, в отношении к труду, к собственности и т.д.

Учет разнообразия — это сегодня ресурс преобразований. Он уменьшает напряженность и социальные затраты, создает богатую самостоятельную жизнь в интегрированном целом. Россия всегда была разной. Она и в будущем останется разной — различными мирами в общем российском мире. А это невозможно без всестороннего развития демократии, без создания и, главное, опробования новых институтов и новых стратегий. Новую Россию нельзя построить только силами демократически-либеральных элементов — буржуазии и либеральных слоев интеллигенции, не привлекая к решению этой задачи *все*, включая оппозиционные нынешнему курсу, но массовые слои.

Нужно, наконец, осознать, что русский коммунизм не был исторической случайностью, нарушением некоей естественной логики исторического развития, отдать себе отчет в том, что он оставил глубокий след в жизни и психологии народов нашей страны. А это значит, что его нельзя преодолеть путем простой дискредитации или тотальной борьбы на уничтожение. Как никогда, сегодня важно усвоить: чтобы преодолеть — надо понять. Ведь только зашоренный либеральный доктринер может отрицать, что коммунизм поставил многие сущностно важные для России проблемы, хотя сплошь и рядом не решил их, вернее, решил по-своему — средствами насилия. Проблема отношений между властью и народом, между бюрократией и «простыми людьми», проблема социальной справедливости, целостности государства, политической самостоятельности — все эти и другие проблемы поднял коммунизм. Его падение означает не отказ от названных проблем, а необходимость их *перерешения* иными средствами и на новой политической основе.

И последнее. Одним из наиболее политически актуальных для России является вопрос о лидере, о взаимоотношениях между ним и верящей ему массой людей. Данную про-

блему вряд ли можно очертить точнее, чем это сделал М.Гефтер. Вот его слова: «Мы требуем от лидера риска доверия, но и сами рискуем заблуждаться. Мы рассчитываем на подконтрольность «человека у кнопки», но как придет она к нему и к нам? Только как открытость лидера, его внутренняя свобода, способность получать импульсы из несовпадающих сфер жизни, от думающих и ведущих себя по-разному, суверенных людей. Лидер — не просто политик: он обязан уметь и не быть политиком, взнуздывать злобу дня, открывая ход иным голосам и мотивам. Мир вне политических связей между людьми, выступая оппонентом политики, может выработать новую мыслительную культуру, новую естественность человеческих контактов, выработать альтернативы привычному существованию. И лидер призван импонировать всему этому разнообразию, придавая простому человеческому голосу, человеческой точке зрения мировой статус»⁸⁵.

Трудно соответствовать этим требованиям, трудно, но необходимо, если иметь в виду демократическую перспективу России и бороться за нее.

ГЛАВА VII

ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ РОССИИ: ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Выше уже говорилось о необходимости для российского общества переоткрытия заново принципов демократического и, естественно, либерального устройства сообразно с историческими традициями, культурой и условиями современного существования. И дело здесь не в «особости» исторического пути России (путь любой страны является в этом смысле «особым»). Дело в другом. Каждый народ выбирает свою дорогу, учитывая новые условия в мире, пройденный страной путь, а у нас — и попытку его коррекции в 90-х гг. нашего века. «Русская идея», «Русский проект», «Русское самоопределение», «Русский путь» и т.п. — во всех этих словосочетаниях просвечивает одно: стремление разных общественных сил уяснить себе основной вектор исторического движения страны сегодня и в ближайшем будущем.

Определить направление движения общества всегда нелегко. И дело не только в том, что в переломную эпоху (а именно ее переживает сегодня Россия) детерминация прошлым задает лишь возможный спектр перемен. Главное в другом — сам этот вектор определяется в историческом движении, а не обнаруживает себя сразу. Его определенность — результат, а не начало длительного исторического процесса и его познания. Он создается, а вернее прорастает, из деятельности людей, руководствующихся разного рода интересами, иллюзиями, страстями, из опыта, удачного и неудачного, из огромного множества реакций, которые далеко не сразу сходятся, суммируются в некоем общем итоге.

На первый взгляд может показаться, что полемика вокруг будущего страны повторяет на новом историческом витке старые-престарые споры русской интеллигенции о том, что есть Россия и, главное, какой она должна быть. Однако при всем сходстве с прошлым обсуждаемая проблема исторических путей России сегодня, думается, имеет одно решающее отличие: она вплетена непосредственно в ткань политической жизни.

Кризис либерально-демократической модели периода разрушения коммунизма, неудача первых попыток отечественных либералов преобразовать экономику страны на новых началах поставили на повестку дня вопросы о том, что представляет собой или что может представлять из себя наше посткоммунистическое развитие, с какими общими историческими параметрами и условиями ему предстоит посчитаться. Речь идет, другими словами, о самоопределении страны в специфических исторических условиях, о способах ее модернизации (т.е. осовременивания) с учетом приобретенного опыта, осознанием характера задач, стоящих перед нею в связи с поиском пути в изменившемся и, главное, изменяющемся историческом универсуме. Избежать этого самоопределения нельзя. Если мы отказываемся от этой работы, то, как правильно подметил С.Б.Чернышев, «обстоятельства сами определяют нас извне таким образом, что мы можем потерять идентичность, исчезнуть». Наоборот, в случае успеха самоопределение создает «основу, почву, на которой будем стоять мы или наши потомки в дальнейшем процессе самоопределения»⁸⁶.

Среди множества причин, обусловивших неудачу первой попытки наших радикальных реформаторов порвать с прошлым и совершить «прыжок в современность», почему-то меньше всего привлекает внимание одно — духовно-теоретическая неподготовленность общества к новым, поистине революционным преобразованиям. Надо отдать себе трезвый отчет в том, что в отличие от ряда крупных общественных переворотов прошлого реформам 90-х гг., означавшим рез-

кий разрыв с накопленным россиянами историческим опытом, не предшествовала революция в умах, революция в мышлении. Конечно, 60-е гг. и диссидентское движение 70 — начала 80-х, наконец, горбачевская перестройка внесли некоторые новые идеи и ценности в интеллигентское (но не массовое!) сознание, но в общем и целом сфера представлений о высших целях, исторически возможном (и главное, должном) оставалась той же самой, что и раньше. Во всяком случае Россия, в отличие, скажем, от Франции XVIII века, приступила к глубоким преобразованиям, так и не выработав соответствующего мировидения, системы новых идейных ориентиров, которые делали бы понятными для элиты и, главное — широких слоев, новые общественно-политические перемены, соотносили бы их с императивами современности, с ходом предшествующего развития страны, с судьбой «простого человека», наконец, проторяли бы дорогу новому строю ценностей.

А между тем после развала коммунистического режима и распада СССР российские реформаторы очутились лицом к лицу с действительностью, учет которой в программах, идеологии, политической практике требовал решительного пересмотра традиционной либерально-демократической парадигмы, введения в демократическое мировоззрение важных социальных составляющих. Оказалось, что между частной собственностью и становлением рыночной экономики, демократическими свободами и формированием новой государственности не существует «естественной», нерушимой связи. Рынок, основывающийся на приватизации части государственных средств производства, формируется у нас с громадным трудом и не становится пока фактором обновления страны. Более того, проведение рыночных реформ вызвало экономический хаос, криминализацию общества, сепаратизм, всплеск архаики, центробежные тенденции в управлении страной. Нельзя, как выяснилось, в одночасье, прыжком преодолеть себя. Мы, россияне, имели длительную, богатую событиями историю, сформировавшую наш

характер, отношение к свободе и закону, наши представления о назначении государства, народовластии и многом другом. Освободиться от своей ментальности путем свержения коммунистического тоталитаризма, его учреждений нельзя: нужна длительная и упорная работа по изживанию обычаев, нравов, психологии, складывавшихся веками.

Короче, в очередной раз обнаружилось, что любой народ — повторим слова М.Гефтера — начинает не с нуля, а с *начала*, последнее же вменяется ему прошлым опытом, историей. Но раздвижение проблемы модернизации до пределов истории, прошлой и настоящей, нам дается наиболее трудно.

Точно так же специфическим российским *началом* обусловлена группировка взглядов, концепций относительно основных линий будущего России. Речь идет о старом и постоянно новом споре между западниками и почвенниками. Говоря о Западе, мы вслед за Л.Блехером и Г.Любарским (см. их книгу «Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья». М., 2003) имеем в виду не просто избранную определенными странами и регионами линию развития, предопределенную на века их историю, а достигнутый обществом уровень развития, задающий своего рода «пучок возможностей», масштаб и энергию борьбы за их реализацию. Соответственно позиция почвенничества определяется нами как утверждение комплекса национальных особенностей России, которые, по мнению почвенников, надо развертывать и углублять вопреки потоку изменений, врывающихся извне в общественную жизнь и культуру страны.

Зададимся вопросом: почему спор западников и почвенников не разрешен до сих пор? Думается, «виновата» в этом, в первую очередь, исторически особая действительность России — страны, соединившей в одном, насквозь противоречивом целом то, что порознь существует и рождается в разных регионах нашей планеты: не только разнообразные формы укладов жизни — от средневековых, традиционалистских до новейших, но и различные формы сопротивления инородной культуре, чаще всего западной.

Европейский исторический процесс стал — не без борьбы, противоречий — стал одним из векторов исторического процесса России, благодаря активному участию страны в «концерте европейских держав» (Маркс) и связанному с ним экономическому, военному, культурному, духовному воздействию на нашу страну со стороны Запада. С этим воздействием связаны попытки правящих кругов заимствовать во имя «прогресса» достижения Запада — «догоняющее развитие», которое не было только поступательным движением вперед, по пути Европы, но, как мы видели выше, сопровождалось дезинтегрирующими, разрушительными последствиями (культурный раскол страны, усиление социального гнета, всемогущие государственной бюрократии, опутавшей все российское общество системой «сыска» и деспотической опеки). Вообще говоря, истоки коммунистического тоталитаризма лежат не только в стереотипах истории России. Они коренятся в экспансии буржуазного прогресса Запада на все новые территории, в кризисе буржуазной цивилизации, особенно болезненно проявившемся в потрясениях начала XX века.

Но Россия по своему территориальному расположению (между Европой и Азией), по евразийскому составу населения, по своей истории, традициям и культуре не «укладывается» в Европу. Она — больше чем страна. Она — особая цивилизация, в чем-то сложившаяся, в чем-то складывающаяся, своеобразный континент, где чересполосица этносов, конфессий, укладов жизни, социальных субъектов, неодинаковость культурной продвинутости народов обуславливает одновременно и чуждость и близость ценностей, убеждений, нравов, отношений. В этих условиях *интеграция различий* (Гейфтер) приобретает громадное значение. Не стремление все решать по одному-единственному образцу, порождающее имперский синдром во властных российских структурах, а именно учет разнообразия. Заполярье и Кавказ, Санкт-Петербург и Дальний Восток — их различия требуют выработки нового модуса сожительства, нового интеграционного механизма.

Таким образом, актуальность диалога — не борьбы, а именно диалога — западничества и почвенничества обусловлена в России прежде всего потребностью политико-культурной консолидации нашего общества, которая возможна только *на почве перемен*, затрагивающих коренные начала всей прежней жизнедеятельности. Однако характер этих перемен (как и ритм) в поликультурном, поликонфессиональном обществе различен для разных социальных слоев, разных этносов и разных культур, к тому же он определяется на каждом историческом этапе развития страны заново и по-новому. Оpoznать собственные, всея России культурные различия, их генезис, их природу — задача огромной сложности, особенно если учесть, что процесс внутренних расслоений еще продолжается. В этих условиях *одно-единственное решение* (все равно: западническое или почвенническое) не подходит: ассимиляция одной культуры культурой другого региона, будь то Европа или Северная Америка, или, наоборот, «затверждение» данной культуры внутри самой себя, не выражают главной задачи современности и будущего — интеграции культурных различий.

С другой стороны, сегодня мир становится теснее (растут связи стран и регионов) и в то же время неподатливее к единству. То, что казалось «только» различием в сроках и формах развития, вырастает ныне до проблемы, решение которой предстоит еще найти — усилием мысли и исторической работой. Обдумать надо заново, как соотносится материальная, общественная и политическая зрелость с духовной и на каких путях разноосновный, разнонаправленный Мир способен обрести внутри себя новую связь, новое единство.

Сравнительно несложно обнаружить сходство, иногда глубокое, иногда поверхностное, между аргументами «старых» западников и славянофилов и современных реформаторов и почвенников. Общность их позиции порой буквально бьет в глаза. Но не облегчаем ли мы свою задачу, ограничиваясь этими параллелями и заканчивая свою работу там,

где она должна начинаться. Речь идет об *историческом характере* спора западников и почвенников, об умении соотнести старую политику с изменившимися условиями, способными видоизменить ее, придать ей новую направленность. Более того, при каждом крупном восприятии новизны образуются свои западники и свои почвенники.

Мы знаем, истоки двухвекового спора относятся ко времени исторического и культурного пробуждения России, с повышением удельного веса страны в европейской политике. Но его *продолжение* в конце XX — начале XXI века свидетельствует уже о чем-то другом, более конкретном — об осознании опасности шаблонизации западного опыта, подгонки под него существенно иной мозаичной действительности. В этом смысле различие понятий «вестернизация» и «модернизация» понятно и оправданно. Более того, оно обязательно в связи с особенностями современного этапа реформ. Невозможность уместить в одну из существующих схем развития (будь то западная или, наоборот, восточная) заставляет мысль искать образ Мира, который не стирал бы региональных различий и национальных своеобразий, а делал бы их предпосылкой воссоздания нового культурного единства. Адаптация к Западу или Востоку здесь ничего не решает.

Есть еще одно обстоятельство, точнее, ракурс рассмотрения, игнорирование которого не позволяет многим поднять анализ отношений «Россия — Запад» на новый, более высокий уровень. Этот ракурс — рассмотрение перспектив общественно-политического развития России с точки зрения Современности. Современность, как справедливо подчеркивает Капустин, «есть не еще одна структура и характеристика общества, а *проблема*, причем проблема культурная, оборачивающаяся *центральной политической проблемой*, тех обществ, которые с ней сталкиваются и уже не могут от нее укрыться»⁸⁷. Современность в таком понимании не сводится к Западу. Его (Запада) проблемы Современности, какими бы важными для мирового развития они ни были, являются

тем не менее частными проблемами. Каждая страна, регион *по-своему* переживает Современность, ищет *свои* ответы на ее вызовы. Россия в данном случае не составляет исключения.

Слов нет, история России носит трагический характер. Но эти трагедии, включая и тоталитаризм, вдумчивый историк обязан соотносить не просто со стихийными социальными катаклизмами (естественно, и с ними тоже), но с мучительным поиском, выработкой ответов огромной страной — всегда разных, поскольку ситуации различны — на вызовы и проблемы Современности в том виде, в каком они выступали исторически. И тогда от простого обличения злодеяний, скажем, коммунистического тоталитаризма, проклятий в его адрес мы переходим к изучению причин, вызвавших его появление, возможных альтернатив большевистской революции, наконец, анализу исторических последствий семидесятилетнего господства коммунизма, которые, как теперь становится очевидным, далеко не однозначны. Короче, большая разница, в каком контексте рассуждать об оппозиции «Россия — Запад». Либо мы объясняем ее «искривлением» траектории исторического развития России под влиянием фактора пространства и татаро-монгольского завоевания, а в XX в. — коммунистического режима, и соответственно усматриваем в возвращении в Европу путь к Современности (модернизация как вестернизация). Либо осмысливаем эту оппозицию как особое проявление общих вызовов и проблем Современности и соответственно определяем теоретическую и политическую реакцию на них.

Подход с точки зрения Современности существенно меняет характер дискурса «Россия — Запад», поскольку вписывает его в иной философский и исторический контекст. Отрицая существование своего рода мировой вертикали, относительно которой в том или ином порядке располагаются уровни социальной реальности, исследователь вынужден учитывать совершенно новую картину всемирно-исторического движения, которая не ухватывается в привычных терминах социального прогресса.

Разумеется, общее направление экономического, политического и культурного развития остается для данной эпохи в общем и целом одним и тем же. Сегодня и во Франции, и в США, и в России, и в Индии, несмотря на все различия в уровне экономической продвинутости, велика роль, скажем, информационной составляющей технологического прогресса. Экономика каждой отдельной страны не может больше развиваться вне мирового рынка технологий, товаров и услуг без риска тупиков и стагнации. Рост культурного уровня и материального благосостояния населения обуславливает потребность обеспечения прав индивида, демократических выборов, шире — участия населения в политической жизни страны. В этом отношении развитие стран и народов не является ни произвольным, ни беспредпосылочным: характер и форма их развития «завязаны» на мировые тенденции. Более того, страны, вырвавшиеся вперед на данной ступени всемирного развития, уже в силу существования всемирного информационного пространства воздействуют на ход процессов, протекающих в обществе, чей строй, культура, экономика не соответствуют нынешней эпохе и где модернизация стоит на повестке дня.

Казалось бы, все предельно просто: опыт стран, составляющих авангард в данную эпоху, формирует в конечном счете цивилизационную физиономию народов, отставших в своем общественном развитии. И чем скорее последние встанут на дорогу, по которой шел авангард человечества (а сегодня это страны Европы, Запада), тем успешнее они преодолеют свое историческое отставание. К сожалению, подобного рода схема прогресса (Маркс ей тоже не был чужд) не соответствует современной философии истории. Конечно, переработка опыта передовых стран и народов, ушедших вперед, имеет большое значение в наше время, как никогда в прошлом. Но совершается она прежде всего в соответствии с потребностями, внутренними условиями, социальными, этнонациональными, наконец, историческими особенностями тех, кто усваивает этот опыт. Сверх того, усвоение про-

исходит в острой социальной и политической борьбе, способной повлиять не только на форму исторического движения страны, но, если угодно, и на сам тип его, на пропуск, сокращение одних и на появление ряда других стадий и фаз, которые отсутствовали в прошлом в Западной Европе и Северной Америке.

Короче, не осуществление предуготованной историей, не однолинейный прогресс, а равнодействующая политической борьбы, столкновение интересов и воли не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене, неизбежное изменение формы и порядка развития, различное соотношение прогресса и регресса, «западного» и «своего» — вот картина движения человечества, которая разворачивается перед умственным взором сегодняшнего исследователя.

Общественное развитие в пределах этой историко-философской парадигмы теряет свою однозначность, предопределенность, его уже нельзя измерить или приближением к новоевропейской цивилизации, или, наоборот, удалением от нее. В контексте взаимодействия между странами, регионами, цивилизациями, разбуженное этим взаимодействием, выбитое из привычных ниш, осваивающее прогресс и отвергающее его, ищущее своих путей оказывается по всемирно-историческим меркам ничуть не менее весомым, чем адаптация к вещному прогрессу Запада, вестернизация данного общества. Не признавая принципиальной разновекторности человеческой эволюции, исторического развития как спектра («пучка») возможностей, альтернатив, которые по-разному реализуются в различных ситуациях, мы не поймем характера важнейших событий XX века.

Разумеется, Современность невозможно понять без предшествующего, истории. Однако — и это следует подчеркнуть особо — то новое, специфическое, что фиксируется в понятии Современности, не является простым следствием развития структур прошлого. В эпистемологическом плане мы имеем дело здесь с принципиально иным типом детерминации, нежели чаще всего встречающейся

в исторической науке детерминацией прошлым (прошлое определяет собой настоящее) — детерминацией Современностью.

Когда-то давно, еще в 60-х гг., А.Арсеньев одним из первых в нашей литературе попытался обосновать, ссылаясь на Маркса, новый тип социальной детерминации — целевую детерминацию. Он утверждал, что в определенные периоды развития общества «критерием и целью, детерминирующей настоящее, фактически служит будущее⁸⁸. Это была одна из первых попыток осознать в советских условиях особый, специфический тип связи развития общественных явлений. Последовавшие репрессии против коллектива авторов книги «Историческая наука и некоторые проблемы современности», где была впервые сформулирована эта идея, прекратила работу А.Арсеньева в данном направлении. Однако, будучи правомерной, она не исчезла вовсе, хотя и разрабатывалась на основе совсем других научных традиций.

Сформулируем лишь одно методологическое положение, важное, на наш взгляд, для понимания истории с точки зрения детерминации Современностью.

Каждое крупное историческое событие представляет собой, вне сомнения, нечто цельное, органически вырастающее из всей совокупности фактов прошлого и настоящего и, разумеется, тенденций будущего. Однако каждое событие включает в себя огромное число элементов целенаправленного действия, связанных прежде всего со значениями и культурными смыслами данного общества. Эти действия не просто видоизменяют общий закон, они обладают новыми масштабами, новыми возможностями, открывающими целую шкалу вариантов будущего. Историческая действительность в ее будущем, таким образом, обладает не просто более высоким рангом сложности, который можно учесть, прогнозировать, проводя через каждую «точку» большее количество «координат». Особенность развития общества, прежде всего в критические периоды, заключается в другом: ряд «координат» вообще нельзя определить заранее, «объ-

ективно», на основании установленных социологических или экономических отношений, вроде отношений: «базис — надстройка», «мир — отдельная страна», «необходимость — свобода» и т.п. Вот почему предсказания общественной науки, строго говоря, относятся не к действительному, жестко детерминированному ходу событий, а только к объективно возможному, альтернативному, вероятностному. Не закономерность (общее) плюс индивидуальные отклонения, вызванные историей и деятельностью людей (специфическое), а закономерность как конфликт и равнодействующая противоборствующих тенденций, включающая в себя возможность разного движения — вот что становится сегодня во главу угла понимания хода истории и перспектив будущего.

Речь, таким образом, идет не о том, чтобы, ориентируясь на экономическую детерминанту и прочие постоянные факторы, вычерчивать путь перехода к будущему, а о том, чтобы выявлять, учитывать, сводить воедино все историкообразующие потенции действительности, внутренние источники ее изменения, включая в эти источники и политическую жизнь, и сферу сознания людей, переделывающих свою жизнь⁸⁹.

Сказанное означает, что в исторической, шире, социальной науке прошло или, по крайней мере, проходит время «акультурных» исторических теорий (термин, используемый Капустиным) — тех, которые в своих построениях не берут во внимание всю совокупность культурных, политических и иных измерений общественного развития.

Когда-то отвлечение от культуры, т.е. от всего, что человек делает по своей воле, осмысленно, являлось предпосылкой становления общественной теории. Только таким образом можно было сконструировать некий умопостигаемый детерминистический мир, где человек — несвободный по определению — действует по принуждению необходимости. Даже в марксовом понимании развития общества, заключавшем в себе, вообще говоря, зародыши более высокого мировоззрения (вспомним «Тезисы о Фейербахе»), люди выступают как действующий фактор исторического процесса

лишь в той мере, в какой они включены в механизм общественного производства и осознают его требования. Все остальное — культура, мораль, ценностные установки и т.п. производны и вторичны, обусловлены изменением производственных отношений. Во всяком случае, решающая причина внутренних изменений в человеке, согласно марксизму, коренится — на это обратил внимание К.Росселли — не в нем самом, а во внешних по отношению к нему противоречиях экономической жизни.

Было бы неверным полагать, что Маркс с его энциклопедическим кругозором не знал о других, неэкономических звеньях детерминистической цепи развития. «Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта» служит убедительным опровержением этого взгляда. Но проблема в том, что формализует он, обосновывая свое понимание истории, именно фактор материальных производительных сил и производственных отношений. И хотя Маркс выступал против редукции мира культуры, морали к экономическим отношениям (его точка зрения в «Капитале» — «выведение», а не «сведение»), самостоятельная роль человека в развертывании исторического процесса и соответствующие ей модели оставались у него до конца жизни на втором плане.

XX век коренным образом изменил характер общественной теории.

Прежде всего это изменение было связано с громадным расширением предмета общественных наук и соответственно источниковедческой базы. Конкретные исследования позволили ученым более глубоко проникнуть в природу социальных явлений, форм экономического, политического и духовного развития народов в разные эпохи и на разных континентах. Количество и характер исследовательского материала, все возрастающие трудности его освоения создали потребность в новом теоретическом синтезе знаний об обществе.

Новую открывшуюся перед взором людей реальность уже невозможно было ухватить с помощью якобы универсального (а на деле европоцентрического) взгляда на чело-

веческую эволюцию, взгляда, который конкретными исследованиями только подтверждался и конкретизировался: «неудобные» исключения из правила, «аномальные» исторические образования требовали обогащения способов объяснения общественных перемен, нового, неэкономоцентрического воззрения на процессы развития.

Новая наука выступает с требованиями предельно полного и точного описания контекста. «Цена» частного, индивидуального, неповторимого колоссально возрастает, поскольку оно трактуется уже не как простое «проявление» общей тенденции, а как завязь исторического закона, который пробивает себе дорогу в жизни.

Но не только развитие знаний приводит к необходимости обновления общественной теории. Резкие перепады в формах и ритмах развития стран, цивилизаций, оказавшиеся гораздо более значительными, чем можно было предположить раньше, наконец, огромная, а в переломный период и решающая, роль фактора политической воли в историческом процессе — все это заставляет переосмыслить прежние представления о природе исторической необходимости, о соотношении между экономикой и политикой, о путях трансформации общества.

Новую историческую реальность, открывшуюся перед взорами людей, уже нельзя было ухватить с помощью заданной наперед, универсальной теории человеческой эволюции. Проблема теперь заключалась в другом: отталкиваясь от конкретного, контекстуального знания, выяснить, как и благодаря чему возникают в нем общие характеристики и черты.

А это — уже иное представление о науке, иной идеал научности. Когда надо анализировать не просто объективное направление развития данного общества, а исследовать, понять механизм его изменения в конкретных условиях, тогда объективно-предметные (экономические) зависимости уже не могут рассматриваться в качестве причин, определяющих положения и действия людей. На первый план выходят культурные смыслы и значения, политическая деятель-

ность партий и классов, создающая новое соотношение сил, новое равновесие общественных факторов. «Необходимость» понимается не в прежнем, сциентистски-онтологическом смысле («так необходимо будет») и уж тем более не в моралистическом, а в конкретном, политическом смысле, ориентирующейся на волю определенной силы, но учитывающей и волю других сил.

Отсюда берет начало новая линия в осмыслении законов исторического развития, иного рода связь концепций будущего с настоящим положением дел. Общественная наука («философия истории») перестает быть теорией, сосредоточенной почти исключительно на выявлении постоянно действующих факторов и законов, а центрирует свое внимание на тех элементах исторического процесса, которые поддаются воздействию тех или иных сил, на культурных смыслах и значениях, господствующих в данном обществе (ими во многом определяется политика), на положении, которое страна занимает по отношению к другим странам и т.д. и т.п. А для объяснения этой реальности требуются другие категории и другой научный аппарат.

То, что предзаданность в истории не существует, признается сегодня большинством думающих исследователей. Но проблема гораздо сложнее, согласие исследователей минимизируется, когда от общетеоретической констатации переходят к рассмотрению истории данной страны в ракурсе перспектив ее развития, оценки прошлого, в том числе недавнего, а также к определению возможных, а чаще всего желательных (для кого?) путей ее движения.

В 90-х гг. XIX века В.И. Ленин (а до него Г.В. Плеханов) отвечали на народнический вопрос: «Куда идти России?» — указанием на то, куда она реально идет, то есть ссылкой на факт начавшегося капиталистического развития страны. В пределах тогдашней марксистской доктрины (исторического детерминизма) такой ответ народникам являлся до известной степени правомерным: следовало выяснить, на какой экономической почве совершается общественная эво-

люция страны, какой расклад общественных сил несет с собой буржуазное развитие. Но вслед за этим (в начале XX века) пути Ленина и Плеханова навсегда расходятся. Оба клянутся в верности марксизму, историческому детерминизму, но в политике защищают противоположные позиции. Оказалось, что вопрос, впервые поставленный народнической теорией: «Куда идти России?», опровергаемый с точки зрения «научного социализма», содержания и духа марксистской исторической теории, стал причиной бесповоротного размежевания в среде отечественных социал-демократов. Спор шел о том, кто и как разрешит стратегические задачи страны. Крах реформаторских попыток правительственной партии (Витте, П.Столыпин) создать условия для беспрепятственного развития капитализма, первая мировая война привели в итоге к пролетарски-плебейской революции в России с ярко выраженной социальной направленностью.

Напала ли наша страна сегодня, в начале XXI века, «на след своего естественного развития?» (Маркс). Многообразие ответов на этот вопрос поражает. Для одних Россия, как развивающаяся страна (в ряду таких стран, как Бразилия, Индия, Египет и др.), обречена, в отличие от развитых стран, на потрясения и катаклизмы. Для других — ее поставила на край пропасти буржуазная политика либеральных реформаторов. Для третьих — «естественное» развитие страны прервал коммунизм, переживания которого еще долго будут сказываться в экономике, политике и культуре. Для четвертых — «подлинное» и благотворное содержание реформ не могло проявиться из-за косности, инерции неразвитого народа и сопротивления «реакционных сил». Для пятых... Впрочем, довольно. В каждом из ответов содержится крупница истины, беда только в том, что выстроить из них какую-нибудь концепцию невозможно.

В чем же заключается проблема самоопределения России начала XXI века, очерчивающая, как нам представляется, общее направление (и только направление!) развития страны. Это проблема необходимости выхода российского,

а еще раньше — советского, общества за рамки индустриализма как типа и стадии развития производительных сил, и главное, как специфической цивилизационной модели с характерным для нее типом личности. Станет ли этот выход альтернативой североатлантической, западной цивилизации или, наоборот, Россия пойдет вслед за Западной Европой — сегодня сказать трудно, если вообще возможно. Одно ясно: с точки зрения развития в Современности подобного рода выход должен стать альтернативой прежде всего «самобытной нецивилизованности». В осознании этого императива, собственно говоря, и состоит правомерный момент «западнических» теорий. Единственно, что следует добавить к их взглядам, так это то, что самодисциплина личности, открытость миру, богатство и динамизм ее потребностей, осознание собственного «я», способного различать свободу и произвол, демократический способ решения общих проблем, патернализм «в интересах» массы и «социального прогресса» и т.п. достигаются не одним — единственным способом, даже если он в свое время опробован передовыми странами: различия значений и культурных смыслов, обратная связь феномена российской «отсталости» с новоевропейским движением и т.п. тоже нужно принимать во внимание.

Можно говорить об определенной, хотя и асимметричной корреляции развития Европы и России, но проблему взаимоотношений России с европейским миром вряд ли можно свести, вопреки, скажем, утверждению В.Вейдле, к тому, чтобы «воссоединиться с Западом», «найти свое место в Европе и тем самым найти себя»⁹⁰.

Несомненно, политические отношения с Европой, экономические взаимосвязи (торговля, займы), заимствование у Запада передовой технологии, духовно-культурных ценностей составляли в своей совокупности важный, хотя и неоднозначный, фактор исторического развития России. Вспомним хотя бы о том, как неудачная война со Швецией в конце XVII века, поражение в Крымской войне в середине XIX века стимулировали изменения в государственном (Петр I) и об-

шественном (Александр II) строе страны. Мы уже не говорим о влиянии европейского социализма на возникновение российской социал-демократии, включая большевизм, а также исторической роли первой мировой войны, которая подготовила условия для Октябрьской революции. К сожалению, значительно меньше исследован фактор обратного воздействия культуры России на цивилизацию Запада, например вклад России в разгром Наполеона и Гитлера, развитие высокой культуры, роль литературного наследия России — Толстой, Чехов, Достоевский.

К тому же воздействие извне — о чем писал М.Гэфтер еще в 1968 г. — носит противоречивый характер. В одних случаях оно способно катализировать разложение старой организации общества таким образом, что процесс распада старых форм обгоняет, порой на длительное время, зарождение и победу новых; в других — может на какой-то срок укрепить господство старых режимов и сил, давать им пространство для маневра. Все это создает громадные трудности для определения социально-экономической и цивилизационной доминанты общества, например сегодняшнего российского.

Другими словами, автор книги отрицает запрограммированность, предуготованность исторического развития России — будь то «европейский», «евразийский», «китайский» или «бразильский» вектор. Как всякое живое общество Россия должна будет в разных формах и разными путями вбирать и перерабатывать опыт, достижения стран Запада и Востока, ушедших вперед, вбирать и перерабатывать в соответствии со своими потребностями и внутренними условиями, историческими и этнонациональными особенностями, менталитетом народа наконец.

Этот вариант развития можно назвать самобытным, если бы не то обстоятельство, что в такой же мере «самобытны» пути Италии, Японии, Китая, Бразилии, Индии и других стран. Его можно квалифицировать как западнический, с той поправкой, что в понятие «Запад» входит и ряд восточных стран. Но, думается, точнее всего было бы назвать его *двигательным*.

жением в рамках Современности. Современный всемирный социум, с его универсальными политическими, экономическими и культурными связями между странами, с его необходимостью — во имя собственной самобытности! — быстро усваивать опыт и достижения других народов, не только «западных», но и «восточных», с его коренным образом изменившейся природой многообразия, с его все ускоряющимся превращением производного, идеального в первичное, материальное и т.п. — вот что преодолевает, оставляет позади прежнюю оппозицию «западничество — самобытничество». Конечно, политическая и социальная борьба, столкновение конкретных интересов способны еще воспроизводить эту оппозицию в отдельных локальных областях знания и политики, но как общая, философская позиция (все равно в какой форме — «европеизма» или «самобытничества») она принадлежит прошлому. Современное развитие, характеризующееся тем, что каждая отдельная страна или группа стран выступают в качестве национально-особой и вместе с тем интегральной части всемирно-исторического целого, превращает различия, обусловленные местом (географические факторы) и историческим прошлым (изоляция этнических групп и культур) в своего рода реликты по сравнению с иным типом разнообразия, порождаемого Современностью — будь то европейская, российская, североамериканская, китайская и т.п. ее версии.

Сказанное лежит более или менее на поверхности и не требует для понимания особых усилий мысли. Более трудной является проблема учета модернизирующейся страной (в нашем случае Россией) особенностей своего исторического развития и соответственно характера общественных задач, становящихся на повестку дня модернизации.

У каждого значительного исторического поворота есть своя сторона, вернее, предыстория, чаще всего скрытая не только от постороннего взгляда, но и — что хуже — от самих участников преобразований. У российских реформаторов особенно первой волны — это заученные наизусть либераль-

ные и рыночные заповеди, это просветительски-высокомерное отношение к плану социального устройства, посредством которого громадная страна оказалась бы в состоянии заново самоопределиться в современном мире. Предполагалось, что политико-социальная компонента переворота дана в практике западных демократических государств. Никто всерьез не задумывался (предупреждения интеллигентов — не в счет) о радикальности «зазора» между Европой и Россией, о разграничении стартовых условий демократизации на Западе и у нас. В странах Европы в XVII–XX веках основы гражданского общества уже сложились, и борьба за свободу призвана была убрать политические, юридические препятствия с пути этого общества. Не то в России. Здесь исторической задачей демократизации является реформирование политической и обновление общественной жизни, между которыми в истории России существовала своеобразная, порой трагическая корреляция.

Характер народов, наций или, как сейчас принято говорить, их менталитет, — тема трудная для обсуждения, в нее легко привносится много произвольного и надуманного. И тем не менее сам характер — вещь вполне реальная. В нем подытоживается очень многое: и природные условия, и размеры территории, и историческая судьба народа, и строй его речи, и быт, и традиции, и т.д. и т.п. Но, пожалуй, самое главное — укрепившийся способ обращения человека с человеком, отношения с государством. К сожалению, вмешательство государства — будь то царь, вождь или президент — отвечает, сплошь и рядом, психологической потребности россиян. Отсюда тоска среднего человека по «сильной власти», сильной не своим авторитетом, соблюдением законности, пониманием общественных проблем, а вмешательством во все сферы человеческой жизни, патронажем по отношению ко всем слоям населения. Даже большевики с точки зрения построения государственности далеко не были революционерами, они, как это отмечалось выше, пошли по линии наименьшего сопротивления. Во всяком случае, их режим с

точки зрения государственного устройства представлял, вопреки видимости, наиболее пассивный результат российской истории. Он соответствовал не разуму, а скорее предрас судку россиян. Различие сталинского (автономистского) и ленинского — федеративного — проектов государственного управления многонациональной страной не было столь радикальным, как представляется некоторым. Просто И. Сталин, с его автономизацией и одним-единственным, вертикальным типом государственно-управленческих структур, несколько забежал вперед, не учитывая того, что было очевидно В. Ленину как опытному политику — необходимость в тех конкретных условиях многомерности и разнообразия форм контроля над республиками Кавказа, Украиной, Сибирью и т.д.⁹¹.

Либеральные реформаторы начала 90-х гг. думали, совсем по-большевистски, когда одним махом, одним движением (вспомним «обвальную приватизацию») думали отрезать российское общество от всего его прошлого — и самодержавного, и коммунистического. Разумеется, эти надежды оказались иллюзорными. Жизнь показала, что в России (думаю, не только в ней) ломать государство означает только одно — порождать смуту. Лишенное государственной составляющей, общество остается наедине с собственными патологиями — коррупцией, преступностью, произволом, безответственностью.

Автор далек от мысли обличать ошибки и слабости реформаторов начала 90-х гг. Проблема в другом — в осознании колоссальной сложности задачи реформаторов в России. Им предстоит не просто ломать, а *лечить* российское государство, шаг за шагом превращая его в современный демократический институт, не допуская своеволия региональных элит, бороться с излишней централизацией, преодолеть шаг за шагом бюрократически-клиентелистский тип управления страной и хозяйством, не допуская вместе с тем разгула рыночной стихии. Каждый народ — заложник своих исторических начал. Не в том смысле, что он бессилён из-

менить себя самого и условия существования в духе Современности, а том, что преодоление инерции движения сложившихся политических традиций требует от него воли, усилий и способности к самостоятельному историческому творчеству.

Процесс демократизации в России должен опережать экономическую модернизацию — в противном случае у российского общества не будет того духовного и политического потенциала, который необходим для преодоления гигантских трудностей на пути формирования рыночного хозяйства. Но демократизация — и это предельно важно — не может свестись к простому переносу на русскую почву западных демократических учреждений. Равным образом она не должна ограничиваться выстраиванием вертикали власти, централизацией государственного механизма. Централизм — это всегда господство бюрократии, а она в нашей стране означает не просто волокиту, взяточничество, некомпетентность, чиновничье бездушие, но нечто более глубокое и зловещее — узурпацию власти над человеком, претензию распоряжаться условиями человеческого существования. Этой узурпации надо противопоставить развитие активности общества. Демократизация либо захватит все уровни, «этажи» общественной жизни, обернется массовым «низовым» творчеством, изобретением, если угодно, новых политических институтов — одновременно и новых, современных и как-то связанных с традициями, нравами российского населения — либо превратится в перманентный процесс кризисов, блужданий «верхов» в потемках, выветривания демократических ценностей в массах, возвращения назад.

Заключение

За последние десять лет в России под воздействием коммерциализации производства радикально изменились не просто общественные отношения, но уклад жизни десятков миллионов людей. По сути произошла полнейшая ломка всех прежних, унаследованных от коммунистического правления форм труда и быта, экономическим базисом которых было государственное производство и распределение. Страна оказалась вброшена в новые условия существования, не имея ни навыков рыночных отношений, ни механизмов регулирования товарного производства, ни инструментов защиты граждан от негативных последствий введения рынка. Вопиющая несправедливость в распределении богатств, коррупция, нищета широких слоев населения, разложение старых традиций, привычных ценностей, семейных отношений дополняют картину того, что случилось за годы реформ. И все это совершалось под лозунгами свободы, демократии, во имя реформ, призванных модернизировать экономическую и политическую жизнь российского общества.

Реальные противоречия так плотно обступили «простого человека», а перспектива ему рисуется столь безрадостной, что он не может не спрашивать себя: в чем же заключался выбор, который он вместе с другими россиянами сделал в 1991–1993 гг. (другой вопрос, он ли его делал!), куда ведет страну «выбранный» им путь и насколько неизбежными были бедствия, связанные с избранием такого пути?

Вопрос о «выборе России» ставят и отечественные ученые. Немалое внимание было уделено ему на III Всероссийском конгрессе политологов, тема одного из межсекционных заседаний которого звучала так: «Российский выбор: сделан, отсрочен, отменен?». Но еще в преддверии Конгресса активное обсуждение данной проблематики началось на страницах «Полиса»⁹². Первый вопрос, который, на мой взгляд, недостаточно затрагивается в нашей литературе, можно сформулировать следующим образом: почему политиче-

ское самосознание оппозиционных коммунизму слоев до сих пор не вышло из зародышевого состояния и не стало осмысленно демократическим? Против всевластного, безответственного, коррумпированного российского чиновничества настроены многочисленные и разнообразные слои народа. Среди них и «простые люди», и зарождающийся «средний класс», и рабочие, чьи предприятия преодолели упадок и застой и начали функционировать. Однако политическое сознание всех этих слоев невероятно слабо; тем более не приходится говорить о наличии продуманного стремления поддержать, ускорить, облегчить продвижение страны по избранному пути, устранить все препятствия, мешающие ее развитию и задерживающие его. Все ждут инициативы от президента и правительства, не зная, какой она будет.

Конечно, можно объяснять этот феномен вековой традицией или, напротив, угасанием политической воли, выражающимся, в частности, в электоральной пассивности и голосовании на выборах «против всех». Но причины, думается, лежат глубже. Они связаны с условиями, в которых произошел демократический переворот, с характером сил, перехвативших политическую инициативу.

Выше уже отмечалось, что, в отличие от ряда крупных общественных переворотов прошлого, например Великой французской революции, эпохе нынешних реформ в России, предполагавшей резкий разрыв с накопленным историческим опытом, не предшествовала революция в умах и нравах, в мышлении. Разумеется, в России были *просветители*, люди по складу своего ума стремившиеся к полноте всеобъемлющего понимания явлений жизни, к проникновению в «причины причин» послеоктябрьского развития, которое образовало эпоху в российской и мировой истории и одновременно обусловило тупики нашего сегодняшнего существования. Были просветители, но *не было Просвещения*, готовившего общество к переменам. Вот почему историческая специфика предстоявшего переворота не была в нужной мере осмыслена, отрефлектирована, так же как не были впол-

не продуманы и задачи реформирования государства и общества. Отсюда судорожные и далеко не всегда плодотворные попытки найти точку опоры в западном опыте — европейском и американском. В известной мере они были неизбежными, поскольку в России практически отсутствовала собственная демократическая и либеральная традиция (если не иметь в виду литературное ее выражение). Вместе с тем у такого рода заимствования была и отрицательная сторона. Оно не дало возможности интеллигенции и народу осознать, что кроме внешних препон, которые, казалось, были сметены, существует и внутренняя, труднее всего поддающаяся преодолению, — *характер российской государственности*.

Но самое важное, пожалуй, заключается в другом. Россия приступила к реформам, сделала выбор в отсутствие общественного субъекта преобразований. Ни одно общественное движение, ни одна политическая партия (я уже не говорю о группах населения) не дотягивали до уровня политической, культурной гегемонии. Потребность, толкавшая разные силы на борьбу с коммунизмом, была общей, однако взгляды на будущее (и далекое, и близкое) существенно разнились, а иногда и радикально противоречили друг другу. Думается, основной разделительной линией между этими разнородными силами были представления о том, что первично: процесс демократизации или экономическая модернизация (=приватизация). Одержала верх экономическая тенденция как более простая, понятная и, главное, опирающаяся на силу государства и «опыт цивилизованных стран».

Другими словами, как это не раз бывало в истории России, потребность в реформах, обусловленная воздействием внутренних противоречий и общемировых тенденций, сложилась *прежде*, чем страна созрела для кардинальных перемен, тем более демократических. А потому, как и раньше, инициативу преобразований перехватила государственная власть, ее либеральные звенья. Началась новая эпоха в развитии страны — переустройство политического и экономического укладов по капиталистическому образцу с помощью

рычагов государственной власти, с сохранением прежнего типа государства и его приоритета по отношению к обществу, с традиционным всевластием чиновничества и т.п.

Без учета этой особенности нельзя, думается, понять все дальнейшие коллизии, которые сопровождали (и сопровождают) становление демократического вектора развития России, и ответить на вопрос: совершила ли она свой выбор, или же он отсрочен, отменен?

Несколько слов о самой категории «выбор». Нам кажется полностью справедливым тезис Ю.А.Красина о невозможности снять накопившиеся в обществе противоречия посредством единожды сделанного выбора, о необходимости его «постоянного подтверждения». Не вызывает у нас возражений и замечание М.В.Ильина, что политический выбор всегда соотносится с контекстом и в его рамках обретает свой масштаб и прочие качественные характеристики. Равным образом следует согласиться с мнением А.Ю.Мельвиля насчет того, что выбор — «не свободное начертание идеального общественного проекта на некоей *tabula rasa*»⁹³, особенно если учесть, что в ряде случаев он застывает на элитарном уровне, отзываясь на уровне масс нищетой и пауперизацией миллионов.

Все это так. Единственное, что хотелось бы добавить к сказанному (и сказанному верно): выбор всегда «объективно» обусловлен, причем его обусловленность следует понимать не как осуществление предуготованного пути, а как совокупность реальных альтернатив. Выбор определяется равнодействующей политической борьбы, столкновением человеческих интересов и воля, превращением в историческую реальность одного из возможных вариантов развития событий. Подчеркивая важность субъективного фактора, нужно иметь в виду, что в выборе всегда присутствует атрибут объективной необходимости: в российский выбор, например, были по сути вовлечены все эпохи нашей истории. Оказалось, что эти эпохи не только сохранились вопреки хронологии, но и стали важной составной частью общего выбора со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Наконец, выбор не может быть тотальным и одномоментным. Процесс превращения старой политической системы в новую, демократическую, как правило, асинхронен: демократический выбор раньше всего проявляется в создании системы представительных институтов, появлении партий; затем — в идеологической сфере, где остается место разнонаправленным тенденциям; и лишь потом намечается восстановление внутренней свободы, осознание прав человека, человеческого достоинства.

Короче, выбор России должен рассматриваться в историческом ракурсе. Что-то ушло вперед, что-то догоняет, а что-то активно сопротивляется новому. Выбора как единожды принятого решения всех или большинства, как чего-то однородно и одинаково развивающегося, не существует.

Недостаток развернувшейся полемики я усматриваю отнюдь не в разных объяснениях того, почему произошел разрыв между декларируемыми целями реформ и их, надеюсь, промежуточными итогами, а в чрезмерно общей, абстрактной постановке вопроса о российском выборе. Сам факт, что в основе политической истории лежат противоречия, противоположности и борьба, известен давно. Правда, далеко не всегда антиномия, если толковать ее как противоречие в рамках определенной концепции, требует «смирения». Чаще всего антиномия выступает сигналом (симптомом) появления новых объектов, к которым старые средства познания не могут быть применены; и тогда условием решения задачи становится выработка новых средств и методов, а значит — инновационная активность субъектов познания и действия.

На мой взгляд, в определенном смысле демократический выбор Россией сделан, как бы критически ни относиться к сложившемуся положению вещей. Объективная необходимость такого выбора заключалась в конечном счете в невозможности другого — коммунистического. Более того, за прошедшее десятилетие он превратился в факт общественной жизни. Выросло целое поколение, которое не знает

коммунистического режима и, разумеется, не желает его возвращения. Для этого поколения демократия и требование демократических методов стали нормой повседневной жизни и критерием оценки политической практики.

Однако, определив общее направление социально-политического развития, мы, думается, должны не ставить точку, а, напротив, придать новый импульс размышлениям, критической рефлексии над возникшими в связи со сделанным выбором и порожденными им проблемами.

Прежде всего напрашивается вопрос: как можно охарактеризовать политический режим, установившийся в России после 1991–1993 гг.? Псевдодемократия, авторитаризм, олигархическое правление? Полагаю, что ни первая, ни вторая, ни третья дефиниция не «схватывает» его сущности. Наиболее точно, как мне кажется, особенности нынешнего политического режима передает понятие «шумпетерианская демократия», весьма удачно, на мой взгляд, проанализированное Б.Г.Капустиным. Вслед за Й.Шумпетером Капустин выделяет два основных критерия подобной формы демократии. Первым является способность «демократического процесса устойчиво воспроизводить себя без создания ситуаций, которые заставляют прибегать к недемократическим методам»; вторым — способность «справляться с текущими проблемами таким образом, который в конечном счете удовлетворяет всем политически значимым интересам»⁹⁴. Слово «всем» отнюдь не предполагает, что решение проблемы отвечает общему интересу или общественному благу, и, конечно же, не подразумевает согласия всех. В логике «шумпетерианской демократии» демократический процесс есть не власть народа, а власть политиков, но политиков, избираемых на условиях «свободной конкуренции»⁹⁵. Соответственно демократический метод, по Шумпетеру, отличается от недемократического лишь одним — периодичностью альтернативных выборов. Никаких других критериев демократичности в «шумпетерианской демократии» не предусмотрено, и если они присутствуют в политическом процессе, то находят свое объяснение в обстоятельствах, внешних по отношению к ней.

Многим из наших политологов, склонным идеализировать демократию как таковую, приписывать ей всяческие качества, близкие русскому уму и сердцу, концепция Шумпетера может показаться слишком бедной и абстрактной. Но на деле Шумпетер дал логически последовательную концептуализацию демократии, существующей в так наз. цивилизованных странах. Россия в этом смысле не выпадает из общего правила.

Надеемся, читатель понял нашу мысль: демократия как форма причастности людей в качестве граждан к осуществлению политической власти пустила корни в России, но пока только в ее «шумпетерианской версии» — ограниченной, «верхушечной», не решающей, к сожалению, основных проблем страны. Сказать, что это демократия политических элит, значит сказать половину правды. Главное, что такая демократия органично вписалась в традиционно российский способ правления с присущим ему безусловным приоритетом интересов государства по отношению к интересам личности и общества. Это государство, управленческий аппарат которого выведен за рамки экономической и юридической ответственности перед гражданами, обладающее монопольным правом интерпретировать (с помощью подзаконных актов) принятые Думой законы. Это государство, чьи политические элиты, выборные или невыборные, могут позволить себе (и позволяют) игнорировать потребности народа, разных его слоев — их спонсируют либо государство, либо олигархические группы. Наконец, это государство, где выборы имеют второстепенное значение — выбирают лоббистов определенных частных интересов, а не выразителей чаяний граждан. Не случайно так низка явка населения на выборы, а протест принимает форму голосования «против всех».

Демократия в ее шумпетерианской версии вполне уживается с коррумпированностью и безответственностью громоздкого бюрократического аппарата, с всемогуществом государства в общественных делах, с проведением в жизнь частных интересов в ущерб общественным (пример — разрушение

сельского хозяйства), с ограничением индивидуальной свободы. Не требует она и создания в стране такой обстановки, которая побуждала бы всех или, по крайней мере, значительное большинство людей к активному участию в общественной жизни, к формированию институтов, связанных с массовым, низовым творчеством. И уж совсем не ее задача — выработка интегральной концепции развития российского общества, «которая была бы ориентирована на различия, на разные подходы, на местные условия, несовпадающие традиции и обстоятельства, различия цивилизаций, не говоря уже о климате, ресурсах, отношении к труду, собственности»⁹⁶.

Короче, в России сложилась та модель демократии, которая только и могла сложиться. Экономическая модернизация (приватизация) радикально опередила процесс демократизации, не сформировала духовной и политической, а главное — институциональной основы для разрешения вековых российских проблем, создав при этом предпосылки для новых социальных напряжений, которые рано или поздно неизбежно возникнут. Да, демократический выбор был сделан Россией в 1991–1993 гг., но сделан на узком и все более сужающемся поле. Поэтому нужно помнить: если демократический выбор россиян не будет обновлен, если его развитие не приведет к достройке целого — государства как такового (пока вместо государства в современном смысле у нас существует лишь «социум власти») и собственно гражданского общества, охватывающего собой социальные, этнокультурные, экологические и т.п. организации, то удержать его (выбор) не удастся. Тем более, что удержание это по природе своей альтернативно, т.е. требует новых выборов и борьбы за новые цели.

Конечно, изначальная слабость российского демократического проекта — нежелание (неумение?) переоткрыть заново принципы демократического и соответственно либерального устройства, сообразуясь с историческими традициями народа, его культурой, политическим опытом, — сыграла свою роль в сужении поля выбора. К этому нужно до-

бавить и неблагоприятные «объективные» обстоятельства. С одной стороны, экономический кризис, больно ударивший по трудящимся, отрезал массу, даже ее активные элементы, от общеполитических проблем: когда речь идет об элементарном физическом выживании, не до политики; с другой — бюрократический монстр, оправившийся от кошмара разоблачений и попыток ограничить его всевластие, понял, что враг не так уж страшен, как поначалу казалось, что без чиновничества (которое остается всемогущим, безответственным, коррумпированным) новой власти при проведении преобразований не обойтись.

И все-таки основной фактор, сузивший и, главное, продолжающий сужать поле выбора — это отсутствие демократического, опирающегося на массы движения. Не следует забывать, что демократический переворот — а именно отсюда начинается выбор — был делом меньшинства народа. Подобно тому, как в конце XVIII—XIX веке Париж навязывал свою политическую волю остальной Франции, Москва и Ленинград в 1991 г. фактически предопределили путь развития России. Своими авторитетными действиями они избавили десятки миллионов россиян от необходимости в каждом отдельном регионе всякий раз заново решать борьбой основной исторический спор. Но чтобы этот ход событий стал прологом к демократическому выбору нужны время и усилия. Народы России должны, так сказать, натурализоваться в новом, непривычном для них пространстве, усвоить его основания и оценить выгоды, которые оно способно принести. Выбор в пользу демократии означает в России не только изменения во властных структурах (они населения коснулись меньше всего), но и самоизменение общества, принятие народными массами иного типа социокультурного развития. Именно иного типа культуры, а не просто рыночной экономики или новых политических институтов.

Если понимать под демократическим выбором трансформацию массового сознания и культуры россиян, то можно утверждать, что он еще не сделан, а только делается (во-

преки законченности, завершенности, которую подразумевает слово «выбор»). Превращение новых ценностей в «здоровый смысл» народа растянется, по-видимому, на значительный срок, но лишь оно гарантирует необратимость перемен, определит ритм продвижения к современному обществу. Какую роль в этом выборе играют политика и экономика, судить трудно. Ясно одно: соответствующий исторический опыт, отложившийся в сознании, привычках миллионов, — неперенная предпосылка вызревания демократического этоса, который, если он сложился, способен «поправлять» в своем духе любые формы политического устройства.

Еще одно «измерение» демократического выбора — формирование политического субъекта (субъектов) демократического развития. Решающую роль здесь играет создание артикулированной идеологии, точнее, идеологий, что предполагает осмысление всеми участниками политического процесса своеобразия своих ценностей и интересов. Нынешняя тенденция, направленная на поиск «национальной идеологии», «общей перспективы», решительно противоречит политизации разных групп, в т.ч. конфликтующих. Как бы странно это ни звучало, но затушевывание различий, смазывание собственного своеобразия, стремление создать «надфракционную» платформу отодвигают возможность согласия, ибо в стране, фрагментированной политически и культурно, согласие возможно лишь как *согласие различных*. В такой ситуации артикуляция партией или движением «своих» ценностей и интересов есть то единственное, что позволяет создать почву (и стимул) для сознательного взаимоприспособления политических волей, облегчить нахождение общего модуса действий в каждой конкретной и обязательно значимой ситуации.

Вряд ли в условиях социальной фрагментации (родовой характеристики современных обществ, по выражению Б.Г.Капустина) может появиться универсальный субъект политической воли: общественной группы, способной породить такого рода моносубъект, сегодня нет и в обозримый

период, по-видимому, не будет. И дело не в том, что мы пока не знаем, «какая субъектность оптимальна для осуществления радикального социально-политического выбора»⁹⁷, дело в самой фрагментированности российского социума.

Речь идет не только о полиэтничности и поликонфессиональности страны, не только о различиях в культуре ее населения, хотя уже одного этого достаточно, чтобы говорить не просто о фрагментированности, а о чем-то еще более значимом — о разделенности и отдаленности друг от друга власти, политических элит и массы народа. Вот почему до сих пор «демократическое» у нас не означает «народное», а «народное» не тождественно «демократическому». Демократизация составляет лишь один из «векторов» политической эволюции России. Кроме него существуют и активно проявляют себя с одной стороны — настроения масс, разбухшие демократизацией, ею сдвинутые из традиционных ниш, осваивающие демократию впервые и по-своему, то, что делает политическую мозаику неизмеримо более сложной, многоцветной, прихотливой; с другой — бюрократически централистские тенденции, питающиеся страхом перед международным терроризмом и сепаратизмом внутри России.

Субъектность различных слоев российского населения будет, по-видимому, вызревать по-разному и, главное, на разных этапах общественного развития. Появится ли реформаторская энергия первоначально в кругах отечественного бизнеса, чьи интересы непосредственно и ежедневно сталкиваются с интересами бюрократии, — пока сказать трудно: предпринимательский класс, находящийся в союзе (сцепке) с бюрократией, сегодня с трудом можно представить в качестве субъекта либеральных, а тем более демократических преобразований.

Нужен длительный период гражданского повзреления бизнеса, выход его из корпоративной стадии, «чтобы население воспринимало его как носителя не только частных и групповых, но и общенациональных интересов, и отчетливо представляло причины, которые мешают ему в таком каче-

стве состояться»⁹⁸. А пока жестко сцепленная система «чиновник — предприниматель» создает порочный круг, выйти из которого к «свободному» предпринимательству без ряда кризисов, «прорывов» и борьбы невозможно.

Политическая и социальная обстановка, сложившаяся после 1991—1993 гг., оказалась неблагоприятной для рабочего класса, значение которого как субъекта демократической трансформации общества, вообще говоря, велико. К сожалению, рабочий класс столкнулся с парадоксом, отмеченным в свое время М.Гефтером: ускоренный рост крупной промышленности и пролетариата в итоге возвращает общество и соответственно рабочий класс на стадию генезиса. Октябрьская революция и последующая индустриализация дали пролетариату России ощущение, что его корпоративные интересы выходят за рамки чисто экономических и могут (как утверждала идеология КПСС) стать интересами всего общества. Коммунистический миф, выражавший настроения целой эпохи и тесно связанный с ее условиями и потребностями, рассеялся, когда после 1991 г. на политическую сцену вышли и вступили в борьбу другие партии с иными идеологией, принципами и видением мира. Несмотря на усилия КПрФ, рабочий класс в общем и целом опустился в политическом отношении (экономический кризис сыграл здесь свою роль) до уровня, выражаясь словами А.Грамши, «экономико-корпоративной стадии»⁹⁹. Вряд ли он навсегда останется на этом уровне, в рамках своих корпоративных задач, но одно несомненно: возвращение к политической стадии и распространение идеологии рабочего класса будет совершаться другими путями, нежели раньше.

Равным образом распад колхозной системы и неудача опыта «фермеризации» деревни плюс уход государства из аграрной сферы фактически вывели из политической игры крестьянство. Наличие Аграрной партии вряд ли меняет положение.

Демократически-бюрократическая (а еще раньше — коммунистическая) система современного российского общества породила внушительную массу «интеллигентов», ко-

личество которых далеко не всегда оправдано общественными потребностями, хотя и необходимо отчасти для политических нужд господствующих групп. В 1991 г. интеллигенция показала, что в период политического кризиса она способна сыграть роль решающей силы сопротивления. Но заложить основы гражданского общества в условиях, когда государство объявляет (или делает, не объявляя) все собственной прерогативой, она оказалась не в состоянии. Да и может ли существовать гражданское общество «всей Руси» — размером от Пскова до Тихого океана? Возможно, до поры до времени это пространство должно быть заполнено обществами, которые и формируются по-разному, и решают разные задачи.

К этому следует добавить специфику регионов, как русских, так и нерусских, различие их укладов, традиций, образов жизни, вероисповедания и культуры. Может ли в этих условиях развитие России не быть многовекторным? Имеет ли шанс стать доминирующей какая-либо одна форма жизни, вероисповедания и культуры? Возрождение политической активности, особенно становление политических субъектов, перенесет вопрос о демократии (демократическом выборе) на новую, более высокую ступень. Речь пойдет не просто об углублении демократии, а о выработке такой формы демократического взаимодействия, такого механизма развития этнического, культурного и экономического многообразия, которые давали бы всем группам населения возможность реализовать свой созидательный потенциал в рамках нового общественного синтеза. Когда это случится, можно будет сказать: демократический выбор Россией сделан окончательно и бесповоротно.

Примечания

- 1 *Гефтер М.* Из тех и этих лет. М., 1991. С. 41.
- 2 *Пантин И., Плимак Е., Хорос В.* Революционная традиция в России: 1783—1883 гг. М., 1986.
- 3 *Соловьев С.* Сочинения. Кн. XVII. М., 1995. С. 18—19.
- 4 *Ключевский В.* Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 316.
- 5 *Маркс К, Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 19. С. 400—421.
- 6 Там же. Т. 36. С. 264.
- 7 *Пивоваров Ю., Фурсов А.* Русская система // Рубежи. 1995. № 1—6; 1996. № 1—3, 6, 7.
- 8 *Marx K., Engel F. Collected works.* Vol. 15. 1986. P. 88.
- 9 *Солоневич И.* Народная монархия. М., 1991. С. 136.
- 10 *Pro et Contra.* М., 1999. Лето. С. 20.
- 11 *Крылов В.* Капиталистически ориентированная форма общественного развития освободившихся стран // Рабочий класс и современный мир. 1983. № 2.
- 12 *Гефтер М.* Многоукладность — характеристика целого // Вопросы истории капитализма в России: Проблема многоукладности. Свердловск, 1972. С. 90.
- 13 *Кантор В.* Есть европейская держава... Россия: трудный путь к цивилизации. М., 1997. С. 171.
- 14 *Фурсов А.* Колокола истории. Вып. 1—2. М.: ИНИОН, 1996.
- 15 *Капустин Б.* Современность как предмет политической теории. М., 1998.
- 16 *Чернышевский Н.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950. С. 666.
- 17 *Гефтер М.* Из тех и этих лет. С. 413.
- 18 *Чернышевский Н.* Указ. соч. С. 666.
- 19 Классический пример или даже модель «опережающего развития» — германская индустриализация XIX века по отношению к английской.
- 20 *Алексеева Т., Капустин Б., Пантин И.* «Национальная идеология»: иллюзия или непонятая потребность? // Октябрь. 1997. № 1. С. 143.
- 21 *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М., 1955. С. 255.
- 22 Там же.
- 23 Там же. С. 309.
- 24 Там же.
- 25 Там же. С. 462.
- 26 *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1939—1950. С. 698.
- 27 *Пантин И.К.* Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973. С. 101.
- 28 *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 666.

- 29 Там же. Т. 6. С. 11.
- 30 Там же. Т. 7. С. 522–523.
- 31 Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959. С. 135.
- 32 Там же.
- 33 **Плеханов Г.В.** Соч. Т. 2. М., 1925. С. 349.
- 34 **Короленко В.Г.** Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1953–1956. С. 141.
- 35 **Виленская Э.С.** Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965. С. 453.
- 36 **Ленин В.И.** Полн. собр. соч. Т. 31. С. 181.
- 37 **Плеханов Г.В.** Соч. Т. 3. М., 1923. С. 141.
- 38 **Бакунин М.А.** Полн. собр. соч. /Под ред. А.И.Бакунина. Т. 1. Б. М.: Изд. Балашева, б. г. С. 49.
- 39 Там же. Т. 2. С. 28.
- 40 См.: **Итенберг В.С.** Движение революционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-е годы XIX века. М., 1965. С. 222–223.
- 41 **Бакунин М.А.** Указ. соч. Т. 1. С. 45.
- 42 Народное дело. 1869. № 7–10. С. 143.
- 43 Революционное народничество 70-х годов XIX века: Сб. документов и материалов: В 2 т. Т. 1. М., 1964–1965. С. 24.
- 44 Там же.
- 45 Там же. С. 25.
- 46 Там же. С. 28.
- 47 Там же. С. 29.
- 48 **Ткачев П.Н.** Избр. соч. на социально-политические темы: В 4 т. Т. 3. М., 1932. С. 244.
- 49 **Плеханов Г.В.** Указ. изд. Т. 2. С. 30.
- 50 См.: **Водолазов Г.Г.** От Чернышевского к Плеханову (Об особенностях развития социалистической мысли в России). М., 1969. С. 137.
- 51 Литература партии «Народная воля». М., 1930. С. 23.
- 52 Там же. С. 162.
- 53 **Плеханов Г.В.** Соч. Т. 2. С. 40–41.
- 54 Там же. С. 349.
- 55 Там же. С. 337.
- 56 Там же. С. 203.
- 57 Там же.
- 58 Там же. С. 346.
- 59 Там же. С. 251.
- 60 Там же. С. 535.
- 61 См.: **Россли К.** Либеральный социализм. Mondo operaio. Б. м., 1989. С. 32.

- 62 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 31.
- 63 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 7. С. 80.
- 64 Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 81–182.
- 65 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 321.
- 66 *Гефтер М.Я.* Страница из истории марксизма начала XX века // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 46.
- 67 *Гефтер М.Я.* Многоукладность – характеристика целого. С. 88.
- 68 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 45. С. 380.
- 69 *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. Т. 7. С. 422.
- 70 *Аксельрод П.* // Искра. 1903. № 55. 15 дек.
- 71 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 370.
- 72 *Грамини А.* Избр. произведения: В 3 т. Т. 3: Тюремные тетради. М., 1959. С. 363–365.
- 73 *Буртин Ю.* Три Ленина // Независимая газета. 1999. 20–21 янв.
- 74 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 45. С. 78.
- 75 *Гефтер М.Я.* Из тех и этих лет. С. 177.
- 76 *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 34.
- 77 *Пантин И.К.* Демократический проект в современном мире // Полис. 2002. № 1. С. 184.
- 78 См.: *Цымбурский В.Л.* «Городская революция» и будущее идеологий в России. Цивилизационный смысл большевизма // Русский журнал ([www.russ.ru Politics/20020704 – tzim.PR.html](http://www.russ.ru/Politics/20020704-tzim.PR.html)).
- 79 *Пантин И.К.* Россия и мир: историческое самоузнавание. М., 2000. С. 72–73.
- 80 См.: *Клямкин И.М.* Новая демократия или диктатура? М., 1994. С. 10.
- 81 См.: *Гефтер М.Я.* Россия. Диалог вопросов. М., 2000. С. 74.
- 82 *Фурсов А.* Колокола истории. Ч. 2. М., 1996. С. 206.
- 83 *Бауман З.* Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 62.
- 84 *Гефтер М.Я.* Из тех и этих лет. С. 456.
- 85 Там же. С. 455.
- 86 *Чернышев С.Б.* Русское самоопределение. Национальная безопасность: в поиске приоритетов // Материалы совещ. аналит. группы при Совете Обороны Российской Федерации. М., 1998. С. 446.
- 87 *Капустин В.Г.* Современность как предмет политической теории. М., 1998. С. 3.
- 88 *Арсеньев А.С.* Историзм и логика в марксистской теории // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 340.
- 89 См.: *Гефтер М.Я.* Страница из истории марксизма начала XX века. М., 1969.
- 90 *Вейдле В.* Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 62.
- 91 *Пивоваров Ю., Фурсов А.* Русская система // Рубежи. 1995. № 5. С. 42.

- ⁹² **Ильин М.В.** Российский выбор: сделан, отсрочен, отменен? // П. 2003. № 2; **Красин Ю.А.** Политическое самоопределение России: проблемы выбора // Полис. 2003. № 1; **Кулиниченко В.А., Кулиниченко В.А.** О духовно-культурных основаниях модернизации России // П. 2003. № 2.
- ⁹³ **Мельвиль А.Ю.** Так что же случилось с российским выбором? // П. 2003. № 4. С. 162.
- ⁹⁴ **Капустин Б.Г.** Грядущие выборы и правила шumpетерианской демократии // Идеология и политика в посткоммунистической России. 2000. С. 290.
- ⁹⁵ Там же. С. 269, 284–285.
- ⁹⁶ См.: **Гефтер М.Я.** Из тех и этих лет. С. 456.
- ⁹⁷ **Мельвиль А.Ю.** Так что же случилось с российским выбором? С. 162.
- ⁹⁸ **Клямкин И.М.** Либерализм реформ и либеральная идеология // Вестник бизнеса и гражданское общество. М., 2000. С. 14.
- ⁹⁹ **Граммши А.** Избр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1959. С. 15.

Оглавление

Введение	4
ГЛАВА I. Россия: окончание исторического цикла?	10
ГЛАВА II. Родоначальники крестьянско-демократической идеологии	41
ГЛАВА III. Действенное народничество: социалистический проект — политическая борьба	62
ГЛАВА IV. Социал-демократическая переформулировка демократизма	91
ГЛАВА V. Русская революция и большевизм	110
ГЛАВА VI. Переход к демократии: противоречия и проблемы	128
ГЛАВА VII. Проблема самоопределения России: философско-историческое измерение	157
Заключение	179
Примечания	192

Научное издание

Пантин Игорь Константинович

Судьбы демократии в России

Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН

В авторской редакции

Художник ***В.К. Кузнецов***

Технический редактор: ***А.В. Сафонова***

Корректор: ***Т.М. Романова***

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 03.12.04.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 6,15. Уч.-изд. л. 8,92. Тираж 500 экз. Заказ № 045.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: ***Е.Н. Платковская***

Компьютерная верстка: ***Ю.А. Аношина***

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119992, Москва, Волхонка, 14